DK435.5
.L8
A3
WILSON
ANNEX

17 MAP '958

1
54280

THE LIBRARY OF THE
UNIVERSITY OF
NORTH CAROLINA

ENDOWED BY THE
DIALECTIC AND PHILANTHROPIC
SOCIETIES

Wilson Annex

DK435.5
.L8
A3

UNIVERSITY OF N.C. AT CHAPEL HILL
00027076468

168.

ИСТОРИКО-РЕВОЛЮЦИОННАЯ БИБЛИОТЕКА.

Л. Я. Круковская

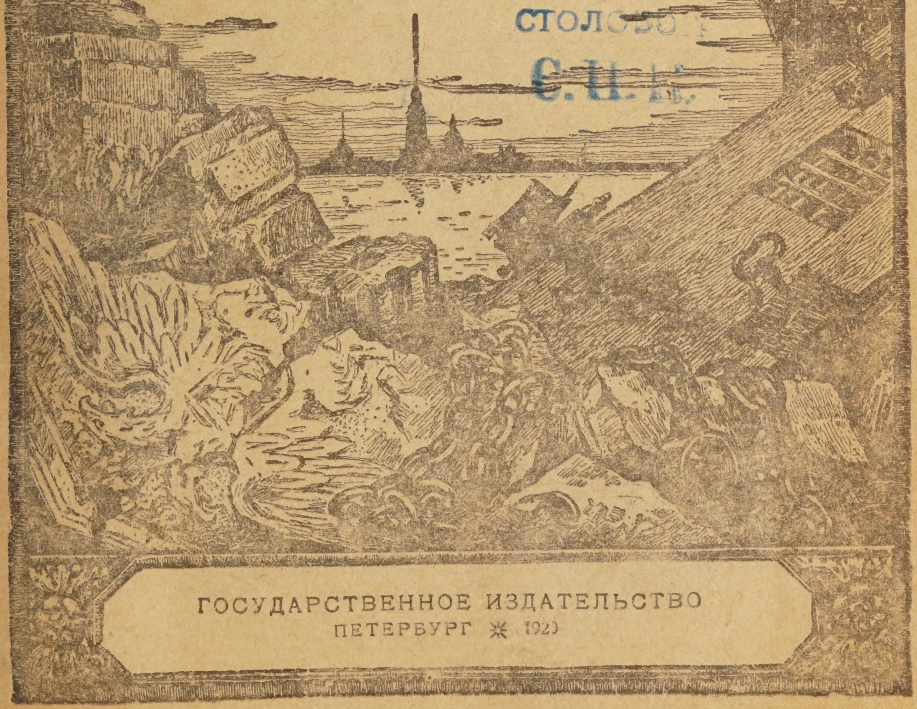
ШЛИССЕЛЬБУРГСКИЙ УЗНИК

ВАЛЕРИАН ЛУКАСИНЬСКИЙ

По книге проф. Шимона Аскеназы:

«ЛУКАСИНЬСКИЙ»

БИБЛИОТЕКА
СТОЛОВОЙ
С. П. Б.



ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ПЕТЕРБУРГ ✻ 1920

947

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

в Петербурге—Просп. 25 Октября, д. 28.

	Цена. Р. К.
Адлер, Георг. Анархизм	10 —
Адлер, Ф. Возрождение Интернационала	45 —
Ад-янц. Крестьянский вопрос во Франции. Разошлось	— 55
Азбука разрезная, большая. Совместное издание с комиссией ликвидации безграмотности	— —
Тоже,—малая	— —
Алексеев и *Варлен.* Две речи	— 70
Алтаев, А., и *Феличе, А.* В огне восстания	5 —
Арну. Мертвецы коммуны	— 45
Его-же. Народная история Парижской Коммуны	10 —
Артамонов. Земля родная. Стихотворения	6 50
Афиногенов (Степной), Н. Записки ополченца. Разошлось	1 25
Бакс. Парижская Коммуна	1 75
Барбюс. В огне. 3-е изд.	30 —
Его-же. Свет. Перевод с французского К. Жихаревой	50 —
Басов-Верхоянцев. Венок. Сказки	5 —
Бебель, А. Интеллигенция и социализм	1 25
Его-же. Из моей жизни. Мемуары, т. I.	7 50
Его-же. Из моей жизни. Мемуары, т. II, ч. I.	7 50
Его-же. Христианство и социализм	— 50
Его-же. Положение женщины в настоящем и будущем	5 —
Бедный, Д. Земля обетованная	1 20
Его-же. В огненном кольце	1 50
Его-же. Песни прошлого	3 —
Его-же. Сытый голодного не разумеет (басни)	4 50
Бессалько. Алмазы востока. Сказки. С иллюстрациями	8 —
Беллами. Равенство	— —
Бельтов, В. (Г. В. Плеханов). К вопросу о развитии монистического взгляда на историю	25 —
Бельше. Любовь в природе, ч. I.	— —
Бернштейн. Фердинанд Лассаль. Биографический очерк	7 —
Блосс, В. История французской революции	32 —
Богданов. Красная звезда	3 20
Богданов. Инженер Менни	7 —
Борисов, Георгий. Диктатура пролетариата. Социально-политическое обоснование	10 —
Браке. Долой социал-демократов	1 —
Браун, Лилли. Роман моей жизни, т. I.	30 —
Ее-же. Роман моей жизни, т. II.	30 —
Брусянин. В борьбе за труд	3 —
Бухарин. Программа коммунистов. 1-е, 2-е и 3-е изд.	1 75
Его-же. Долой международных разбойников. Разошлось	— 40
Его-же. Классовая борьба и революция в России	1 80
Быстрянский. Империализм	— 35
Его-же. Пролетариат и наука	12 —
Его-же. Революция и женщина	15 —
Его-же. Армия империализма и армия революции. Война империалистическая и война революционная	2 —
Его-же. Империалистическая Англия против социалистической России	— 40
Его-же. Рабоче-крестьянская революция в России в оценке буржуазной публицистики	2 —
Вандервельде. Социализм и искусство.	— 90
Васильев, М. И. Путь к коммунизму.	15 —
Ватин. Что такое коммуна? 1-е и 2-е изд.	— 20
Вейтлинг. Человечество, каково оно есть и каким должно быть	— 85
Великина, В. Борец за свободу Вильгельм Вейтлинг	1 —
Венок коммунаров. Сборник памяти В. Володарского, с рисунками	4 —
Войнич, В. Овод. Роман. Перевод с английского З. Венгеровой	4 50
Водовозов, В. А. И. Герцен	5 —
В-ик, Л. Уголок немецкой оккупации.	— 50
Володарский, В. Напутственная речь агитаторам. 3-е издание	— 50
Его-же. Речи	15 —
Волькенштейн. Как и почему возникла Великая французская революция 1789 г.	5 50
***Враги-ли евреи рабочим и крестьянам? 1-е и 2-е изд.	— —
Волховский. Сказание о царе Симеоне.	1 25
Гауптман. Ткачи. Драма	3 —

Историко-революционная библиотека

Л. Я. Круковская

SHLISSEL'BURGSKIĬ UZNIK

ШЛИССЕЛЬБУРГСКИЙ УЗНИК

ВАЛЕРИАН ЛУКАСИНЬСКИЙ

По книге проф. Шимона Аскеназы:

„ЛУКАСИНЬСКИЙ“

№ 168
Инв. 1942 г.
№ 2078.
БИБЛИО...
СТОЛО...
С. Н. ...

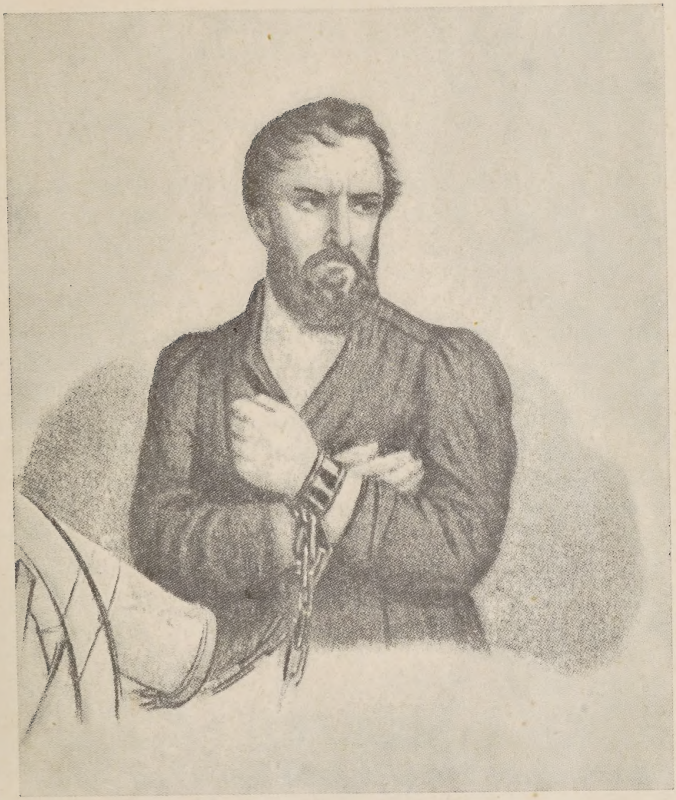
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ПЕТЕРБУРГ • 1920

Р. В. Ц. Петроград.

Первая Государственная Типография, Гатчинская, 26.

ВСТУПЛЕНИЕ.

До выхода в свет капитального и обширного двухтомного труда профессора Аскеназы о Лукасиньском, имя этой беспримерной жертвы дикого насилия было совершенно затеряно. «Тюремный мрак, окутывавший его при жизни,—говорит проф. Аскеназы,—поглотил также все его посмертные следы». Извлечь их из этого мрака дело далеко не легкое, и его можно было выполнить лишь отчасти: настолько глубоко и тщательно затерты эти следы. Все стремления и порывы Лукасиньского, как яркого выразителя современной ему эпохи, были тесно сплетены с историческими событиями Польши, с судьбой польского народа. И для того, чтобы охарактеризовать деятельность Лукасиньского, необходимо было дать хотя бы сжатый исторический обзор этих событий. Предлагаемое краткое извлечение из двухтомного труда проф. Аскеназы имеет целью ознакомить более широкие круги читателей с весьма важными сторонами жизни Царства Польского, а образ Лукасиньского будет «живым факелом, освещающим темную глубь той политической сцены, на которой разыгралась история Польши и России, в эпоху Александра». Вместе с тем жизнеописание Лукасиньского представляет огромный интерес еще и потому, что оно может служить лишней иллюстрацией той бесчеловечной и бессмысленной жестокости, какой подвергались самые бескорыстные и самоотверженные борцы за свободу.



ВАЛЕРИАН ЛУКАСИНЬСКИЙ

БИБЛИОТЕКА
СТОЛОВОЙ
С.Н.К.

ГЛАВА I.

Детство и молодые годы.

Лукасиньский родился в Варшаве 14 апреля 1786 года. Отец его, небогатый шляхтич, женился на Люции Грудзинской из Плоцкого воеводства. От этого брака, кроме старшего сына Валериана, у них родилось еще четверо детей: две дочери—Юзефа и Текля и два сына—Антон и Юлиан. Последний, самый младший, был от рождения калекой. Родители, повидимому вследствие увеличивавшихся с течением времени материальных затруднений, проживали попеременно то в Варшаве, в Старом Городе, где умер отец; то в деревне, в Плоцком воеводстве, где в имении Павлове умерла мать. Валериан рос в тяжелых домашних условиях и в эпоху самых тяжелых народных бедствий. Маленьким мальчиком он был свидетелем резни в предместье Праге и окончательной гибели отечества. Юношеские годы он провел под суровой ферулой прусского владычества. Однако, на месте своего рождения он мог почерпнуть достаточно оживляющих и возвышающих душу элементов. Не даром он принадлежал к мелкой полумещанской варшавской шляхте и родился в памятную эпоху, на закате XVIII в. Мещанская и пролетарская Варшава оставалась совершенно безучастной в течение всего упомянутого рокового столетия, слегка оживляясь лишь во время тех или иных выборов и относясь еще почти пассивно к насилиям, творившимся на ее глазах над народом. Но стоило ей лишь один раз во время Великого сейма проснуться для самосознания, один раз взяться за дело, во время восстания, чтобы проникнуться новым настроением, стать могучим источником новой народной энергии. Юноша-Лукасиньский проникался на каждом шагу этой особой атмосферой, которой были больше всего пропитаны все уголки родного квартала в Старом Городе. Несмотря на все материальные затруднения в родительском доме, Лукасиньский получил весьма тщательное образование. Он владел в совершенстве французским и немецким языком, и позже на службе выделялся знаниями в области математики,

статистики и географии. Кроме того, он отличался большой начитанностью не только в родной литературе, но и в особенности во французской. Любя точные науки, он не пренебрегал и чтением серьезных книг по истории, общественным наукам и юриспруденции, часто цитировал наизусть Плутарха, Монтескье и Чацкого. Ему пришлось, вероятно, много потрудиться для своего образования, так как он не обладал никакими талантами и был человеком средних способностей, с тяжелым, медлительным мышлением. Но ценою больших усилий он проявлял часто проницательность и даже замечательную тонкость ума. Он отличался не столько живостью ума, сколько спокойною рассудительностью и, главным образом, глубоким сознанием ответственности за свои действия. Он мыслил строго, логически, точно, и то, что однажды обдумал, проводил с железною последовательностью, без всякого снисхождения к себе и другим. По отношению к людям у него выработалась с течением времени, путем опыта, какая-то трезвая, скептическая, иногда просто презрительная, недоверчивость, делавшая его малообщительным. «Железный характер»—говорили о нем в семье. Но, в действительности, под холодною внешностью в нем таился внутренний огонь и чувствительность. Он был лишен личного честолюбия, но все его благородные стремления были направлены на служение своему народу. В нем жила огромная совесть, твердость и готовность к самопожертвованию за свободу и для блага родины. Замкнутый и малоразговорчивый, он обычно хорошо владел собою, но неожиданно вспыхивал с неудержимой силой. Это была во многих отношениях типичная душа мазура. Он был среднего роста, худощавого сложения, с правильными чертами лица, высоким лбом, серыми глазами и русыми волосами.

Когда в 1806 г. Наполеон разбил пруссаков и освободил таким образом подвластную им до тех пор область, для Лукасиньского явилась возможность вступить, на призыв Домбровского и Понятовского, в ряды войск под национальные знамена.

Лукасиньский пребывал в то время у родственников своей матери, недалеко от Млавы. Там формировался под начальством Игнатия Зелиньского пехотный стрелковый батальон, в который и вступил Лукасиньский (15 апреля 1807 г.) «добровольцем в качестве фурьера». Вместе с этим батальоном—позднее переименованным в пятый стрелковый полк, причисленный ко II легиону Заионче́ка, Лукасиньский участвовал в летней кампании против пруссаков и русских и был вскоре (7 июля) произведен в адъютанты и затем, по заключении Тильзитского мира, в подпоручики (1 февраля 1808 г.). При реорганизации войск герцогства Варшавского он вскоре перешел (1 марта 1808 г.) в шестой пехотный

полк, сформированный из калишан под начальством Юлиана Серавского и к которому уже раньше была присоединена часть стрелков Зелиньского. Набирая рекрут в Ченстохове и Калише, он завязал здесь первые знакомства и дружбу, которая позже сыграла важную роль в его жизни. В это же время он был назначен адъютантом при инспекторе по рекрутскому набору Константине Яблоновском.

Но мирная организационная работа длилась недолго. Вспыхнула австрийская война 1809 г. Эрцгерцог Фердинанд, во главе превосходных сил, вторгся в герцогство Варшавское. Понятовский, после генерального сражения под Рашыном, отступил с польской армией в Галицию. С самого начала военных действий, в апреле, мае и июне, шестой пехотный полк отличился в битве под Рашыном, в ночных штыковых атаках в предместии Гуры, на сандомирских бастионах, и затем при обороне Сандомира.

Трудно установить точно, насколько канцелярская работа позволяла Лукасиньскому принимать личное участие во всей этой выдающейся деятельности его полка. Верно только то, что Лукасиньский ревностно исполнял свои обязанности, так как именно тогда, во время похода, он был (7 мая) произведен в поручики. Тем временем операции Понятовского в Галиции постепенно расширялись, и в скором времени он захватил почти всю австрийскую область. Поэтому тотчас приступили к организации национального войска в освобожденной Галиции. Как бы по чудесному мановению, тотчас возникло несколько новых полков, несколько десятков тысяч новобранцев вступило в ряды войск. Это было гораздо более серьезным делом, чем произведенное два года тому назад в прусской области, ибо теперь оно явилось плодом исключительно собственных усилий, без посторонней помощи, и было делом в полном смысле слова революционным. Галицийская организация 1809 г. была делом не столько чисто военным, сколько народно-повстанческим, и произвела сильное впечатление на молодой ум Лукасиньского. Он сошелся в это время в Галиции с кружком людей, близких к прежним эмигрантам после восстания Костюшки или даже принимавших в нем участие. Они проводили свою революционную идею на чужбине, в Париже, в легионах и затем принесли ее обратно на родину, в Герцогство Варшавское. Весьма вероятно, что именно тогда молодой офицер встретился с Андреем Городыским—одним из самых выдающихся представителей той группы, которая оказывала сильное влияние на тайную организацию не только в эпоху Герцогства, но и в Царстве Польском. В это самое время Лукасиньский был очевидно принят в военную масонскую ложу. 5 июля 1809 г. он

вместе с целым кружком своих новых друзей вступил в чине капитана во вновь сформированный первый пехотный галицийско-французский полк. Покидая свой шестой линейный полк с установившеюся репутацией для нового формирующегося полка, набранного из дезертиров, добровольцев и пленных, Лукасиньский руководствовался чисто гражданскими мотивами. Первый батальон нового полка состоял из иностранцев—немцев, французов и итальянцев, второй баталион—из литовцев, третий—из русинов, большею частью не понимавших польской команды и даже внешним обликом значительно отличавшихся от остального войска. Но, быть может, именно внешний вид этой разношерстной толпы солдат, собранных под общее освободительное знамя, послужил для Лукасиньского особой побудительной причиной, поощрявшей и направлявшей его к великой идее единения всех разнообразных, разделенных элементов в один общенародный центр. Большое влияние в этом отношении оказал на него замечательный человек, с которым он встретился еще в Ломже, Казимир Махницкий, получивший серьезное образование в университетах Гейдельберга и Гааги. По возвращении из-за границы, Махницкий состоял судьей в Ломже, где Лукасиньский и сошелся с ним. Вскоре Махницкий стал не только советчиком, но и в полном смысле слова морально-политическим руководителем Лукасиньского во всех делах тайного общества, а позже и во время самых тяжелых преследований. Он выдержал, не дрогнув, все изысканные тюремные пытки и оттолкнул с холодным презрением милостивые великокняжеские искушения и выдержал до конца—дольше и непоколебимее всех, даже самого Лукасиньского. И именно он, человек непоколебимого характера, оказался позже, во время ноябрьской революции, самым подходящим руководителем военного восстания. Забытый и молчаливый, он окончил жизнь на далекой чужбине, в стороне от шума и эмигрантских передряг.

Весной 1809 г. Махницкий, по первому призыву, покинул свое судейское кресло и уже в мае вступил, в качестве простого солдата, в ряды национальной армии. В начале июля, в один день с Лукасиньским, он был произведен в поручики первого галицко-русского полка, и с тех пор между ними завязалась более близкая дружба. Наступил критический 1813 г. Разбитая великая армия отступала на запад, и вслед за ней на Герцоство Варшавское надвинулась преследовавшая ее русская армия. Остатки польской армии, под начальством Иосифа Понятовского, покинув Варшаву, остановились в Кракове, где, после страшного московского поражения, происходила лихорадочная реорганизация армии. Туда же весной 1813 г. был переведен вместе со всем административным

органом и Лукасиньский, в то время как его ближайшие друзья заперлись в осажденном Замостье и принимали вместе с генералом Гауке участие в продолжительной защите крепости. Но положение польского войска, направлявшегося под начальством Понятовского через Краков на запад, было, с общественной, а не военной точки зрения, гораздо более тяжелым и двусмысленным. Лучшие люди, вроде Князевича, Хлопицкого и др., ушли. Но, несмотря на все сомнения, Лукасиньский пошел до конца за своим главнокомандующим, проделал всю саксонскую кампанию, участвовал в защите Дрездена и здесь попал в плен к австрийцам (12 ноября 1813 г.).

Он был отправлен в Венгрию, где пробыл в заключении около полугода. Тем временем Александр I, вместе с неутомимым польским деятелем Адамом Чарторыйским, вступил в Париж и принял там весной 1814 г. депутацию от польской армии, которую взял под свою опеку и обеспечил ей свободное возвращение на родину. Таким образом был освобожден и Лукасиньский, возвратившийся в июне 1814 г. в Варшаву, где тотчас приступили к реорганизации польской армии под русским протекторатом. Но как судьба Польши, так и реорганизация армии оставались еще в течение почти целого года в неопределенном положении. Подобно тому, как надежда на могущество Наполеона не оправдалась в прошлом, в будущем могла не оправдаться и надежда на великодушие Александра. Поэтому невольно зарождалась мысль, что главным образом следует рассчитывать лишь на свои силы. Эта мысль была подтверждена защитниками Замостья и Махницким в частности. Крепость Замостье, обеспеченная провиантом лишь на три месяца и защищавшаяся девять месяцев, показала, что может сделать неисчерпаемая энергия даже маленькой горсти защитников.

Несмотря на холод, голод, скорбут, на огромную смертность, на уничтожение домов для топлива, наконец, на употребление в пищу кошек, ворон, мышей и крыс, все, в том числе и Махницкий, уже в чине майора, хладнокровно исполняли свои тяжелые обязанности. Здесь, повидимому, и зародилась мысль о необходимости самостоятельной организации, без всякой посторонней помощи, народных сил в виде тайных союзов. Эта мысль, получив широкое распространение, стала осуществляться в различных направлениях и непосредственно повлияла на Лукасиньского. Существуют указания, что, уже на обратном пути из Франции на родину, в польских войсках зарождались, иногда на короткое время, тайные, чисто военные союзы на патриотической основе. Один подобный союз возник в 1814 г. в Виттенберге, по инициативе генерала Михаила Броникowского в качестве наместника и

при участии командира эскадрона Петра Лаговского под именем Домбровского. Союз был организован в восьми отрядах, носивших имена Батория, Ходкевича, Костюшки, Ясиньского, Понятовского, Сулковского, Либерадского и погибшего под Сан-Доминго Яблоновского. Это тайное общество было скорее плодом фантазии неопытных инициаторов, нежели живым центром заговора, и существовало главным образом лишь на бумаге. В это самое время аналогичные попытки обнаружились и вне военной сферы. Первый шаг для этого сделали псевдоякобинец и карьерист Андрей Городыский, находившийся вместе с Лукасиньским в 1813 г. в Дрездене. Раньше Городыский предлагал свои услуги Наполеону, рассказывая при этом небылицы о каком-то могущественном, а в действительности фиктивном «Патриотическом Обществе» на Подоли и Украине и обещая вызвать там общее восстание. Так как несомненно, что на предприятии Городыского отразилось прогрессивное течение мысли, начиная с Коллонтая, то для полного уяснения дальнейшего развития народного самосознания в указанном направлении, по которому следовал и Лукасиньский со своими товарищами и последователями, необходимо считаться и с бесцельными начинаниями Городыского.

Когда Лукасиньский возвращался на родину вместе с тысячами своих товарищей по оружию, ближайшее будущее и даже настоящее их родины представлялось еще в крайне неопределенном и мрачном свете. Армия Герцогства Варшавского очутилась в особенно затруднительном положении. Она, повидимому, сохранила своих прежних вождей, но вместе с тем очутилась под начальством великого князя Константина Павловича. Она реорганизовывалась спешно, но на счет русской казны и не зная определенно для кого—для русского ли императора или для Польши?

Вот почему летом 1814 г. польские офицеры обратились к своему главнокомандующему со следующим, вернее всего им же вдохновленным, воззванием: «Ты зовешь нас снова в ряды войск; наша молодежь много раз вступала на твой зов в эти ряды, ибо ты звал ее во имя самого священного стремления бороться за отнятое у отцов наших Королевство. Офицеры являются гражданами одной общей родины и, как ее сыны, вооружались за нее и берегут кровь свою для нее. Скажи нам, что ты представляешь собой теперь и для чего велишь нам взять оружие. Ты, думающий лишь о восстановлении земли отцов, спроси у победителя от нашего имени—что он требует от нас? Мы в его власти, но лишь одна родина может требовать нашей крови для ее блага». Домбровский передал это воззвание через Константина Павловича государю и представил Константину подробный проект наступления польской

армии собственными силами против пруссаков и Австрии, если бы эти державы вздумали ставить препятствия восстановлению Царства Польского. Это смелое предложение вызвало лишь подозрение царя и великого князя по отношению к предприимчивому польскому генералу.

Одновременно некоторыми молодыми офицерами была предпринята с большою осторожностью тайная организация в среде польской армии. В конце 1814 г. под руководством двух инженерных офицеров, Игнатия Прондзиньского, его приятеля Клеменса Колачковского и молоденького, но полного огня Густава Малаховского возникло «Общество истинных поляков», в основу которого положено «société de quatre», так как к нему не могло принадлежать более четырех человек одновременно. Вновь поступающих принимали не в масках, а с глубоко надвинутыми фуражками и закутанными в плащи с поднятыми воротниками, так что нельзя было узнать их лица. Из трех вновь принимаемых в общество, двое, не зная имени третьего, ожидали его в темной приемной. Принятие было обставлено большою таинственностью. Общество существовало недолго и в 1815 г. прекратило свое существование. Лукасиньский не принадлежал к этому обществу. По возвращении на родину, он вступил в реорганизованную польскую армию и приказом великого князя был назначен в чине капитана в четвертый линейный полк под начальство полковника Игнатия Мыцельского. Четвертый полк пользовался особою милостью Константина Павловича, постоянно квартировал в Варшаве и набирался из варшавской молодежи—из ремесленников, рабочих, частных служащих и т. п., из так-называемой «уличной молодежи», превосходившей своею ловкостью, выправкой и изяществом даже гвардейские полки. Среди них было не мало плутов, авантюристов, обманщиков и даже воров. Известно, что однажды кто-то из них украл шутки ради бобровую шинель великого князя. Все это искупалось веселостью и ловкостью, и они были несомненными любимцами Варшавы. Константин всюду отдавал им преимущество и ставил их в пример другим полкам. Говорили даже, что он сам оказывал им помощь во всем и заблаговременно предупреждал о том, что нужно иметь в виду на смотрах, парадах и маневрах. Лукасиньский, уроженец Варшавы, очутился в этом специально варшавском полку как в хорошо знакомой ему среде, и хотя он значительно выделялся в легкомысленной полковой атмосфере строгостью своих убеждений и серьезным характером, пользовался все-таки уважением начальства и товарищей и любовью подчиненных ему солдат. 30 марта 1817 г. он был произведен в майоры. Всецело отдаваясь выполнению своих служеб-

ных обязанностей, Лукасиньский вел скромную жизнь пехотного офицера, живущего на свое скудное жалование, вдали от светского шума варшавских салонов, куда имели доступ лишь более привилегированные по богатству или связям, как Скшинецкий, Прондзиньский и др. Скромный майор четвертого полка стоял вне этого светского круговорота. Он пережил не мало горя в своей домашней жизни: потерял мать, и на его попечении остался брат Юлиан—калека. Другой брат—Антон—имел мало общего с ним и не был посвящен позже в опасную деятельность Валериана, гибель которого совершенно не коснулась его. Любимая сестра Текля вышла замуж за Яна Лэмпицкого и покинула Варшаву. Приблизительно в то же время Валериан обручился с Фредерикой Стрыеньской. Но они откладывали свою свадьбу из года в год, ожидая более благоприятного времени, и так и не дождались его.

В Варшаве у Лукасиньского был целый кружок более близких друзей, главным образом товарищей по оружию. Но кроме того у Лукасиньского появились в это время некоторые новые знакомства, непосредственно связанные с его последующею деятельностью и явившиеся следствием его общения с варшавскими масонами, к которым он имел доступ в качестве члена военной масонской ложи. Таким образом он сошелся с Казимиром Бродзиньским—поручиком артиллерии и вместе с тем поэтом, оплакивавшим в чувствительных стихах «белые березы над зеленой московской дорогой», или разоренное московское население. Усердный масон Бродзиньский, брат ложи храма Изиды в Варшаве, познакомился с Лукасиньским в масонских кругах, заслужил его доверие и уважение и был им посвящен в ближайшую национально-масонскую деятельность. Но еще большее значение имело для Лукасиньского знакомство, также через посредство масонского братства, с выдающимся членом апелляционного суда в Варшаве—Венгжецким. Он принадлежал к предыдущему поколению Великого сейма и восстания Костюшки, был первым президентом столицы Царства Польского, имевшим мужество ответить Константину на его незаконное требование военной реквизиции у варшавских ремесленников: «Здесь не Азия, В. В., и народ имеет свои права!» Это был суровый, сильный духом, старик, проникнутый насквозь любовью к простому народу и с прогрессивными демократическими взглядами. Резко защищая наполеоновское законодательство, он говорил: «шляхтич боится кодекса из страха постепенно потерять свою власть над крестьянином; его беспокоит, что придется заседать в суде рядом с мещанином и крестьянином» и т. д. Венгжецкий принадлежал к числу масонов еще школы Игнатия Потоцкого и Четырехлетнего сейма, состоял в дружбе с Игнатием Потоцким—

министром просвещения и исповеданий в первые годы Ц. П. и главой польского масонства.

Венгжецкий достиг всех высших масонских степеней и стал постоянным посредником между Лукасиньским и варшавским Великим Востоком, а также специалистом по вопросу о сочетании социально-революционных идей с масонскими обрядами. Лукасиньский также не ограничивал своей деятельности мертвящей военной службой. Он зорко следил и горячо отзывался на все вопросы общественной жизни Ц. П. в ее общем течении и развитии, и даже в отдельных проявлениях. Чрезвычайно интересным свидетельством в этом отношении может послужить изданное в то время и единственное вышедшее из-под пера Лукасиньского сочинение, касающееся еврейского вопроса. Этот вопрос принимал резкое направление уже в эпоху Герцогства Варшавского и разгорелся в переходное время между падением Герцогства и возникновением Царства Польского.

В первые же годы после Конгресса он стал живо обсуждаться в печати, общественном мнении и законодательстве. Еще в 1815 г. этим вопросом, в благожелательном для евреев духе, занялся влиятельный «Варшавский Дневник». На его столбцах выступил ксендз Ксаверий Шанявский, кафедральный варшавский каноник, призывая к гуманному отношению к евреям, к уравнению их с остальным населением в податях, требуя взамен от евреев приспособления их к бытовым условиям народа. Для упорствующих же он просил у Александра «предоставления определенной территории для образования Еврейского Царства». В том же журнале выступил с резким возражением Сташиц в статье «О причинах вреда, приносимого евреями, и способах превращения их в полезных членов общества». В следующем 1816 году спокойно и беспристрастно выступили ксендз Лэнтовский в Варшаве со статьей «О евреях в Польше» и Станислав Качковский в Калише со статьей «Взгляд на евреев», чем и закончились на этот раз прения по еврейскому вопросу.

Но в феврале 1817 года, после первого нормального набора в Ц. П., в ряды польской армии вступили вновь призванные евреи, до того времени, после первой неудачной попытки в начале Герцогства, совершенно освобождавшиеся от военной службы. В это же время еврейский вопрос во всей своей широте подлежал обсуждению на предстоявшем первом сейме Царства Польского в 1818 г. Поэтому в печати снова разгорелся спор. Генерал Винцент Красиньский издал в Париже на французском языке и опубликовал на польском языке в «Газете Варшавского Герцогства» резкую статью, посвященную наместнику Зайончеку—«Aperçu sur

les juifs». Он смотрел на евреев, как на граждан всей вселенной, не признающих никакой родины, не привязанных ни к какому государству. Он утверждал, что польские евреи подчиняются лишь одному главному вождю, имеющему пребывание в Азии с титулом «князь рабства», высказывал сомнение в возможности превратить их в граждан, хотя в конце-концов давал довольно либеральные общие указания для реформ быта польских евреев, взятые из соответствующего проекта времен Четырехлетнего сейма и сочинения Чацкого о евреях. Выводы генерала довел до конца анонимный автор статьи «Меры против евреев», который, исказив случайно брошенную мысль ксензда Шанявского, добивался, чтобы просто обратились к Александру с требованием о насильственном выселении всех евреев из Ц. П. и водворении их «на границах Великой Тартарии». В сравнительно более мягком, но, в общем, родственном ему, духе написана также анонимная брошюра «О евреях», где автор, сомневаясь в выполнимости принудительной эмиграции, советовал сосредоточить евреев в особых селениях—«вернее в новых городах», наряду с соответствующей «реформой еврейской религии». На более глубоком чувстве справедливости, местных интересах и совершенно иных, более умеренных, принципах обосновал свою статью «О реформе еврейского народа» Иосиф Вышиньский, призывая к систематической постепенной работе для поднятия культурности и гражданственности в среде еврейского народа. Эти четыре статьи вызвали целый ряд иных на эту же тему, и побудили Лукасиньского издать в 1818 г. книжку под названием «Размышления некоего офицера о признанной необходимости устройства евреев в нашем государстве и о некоторых статьях на эту тему, вышедших в свет в настоящее время».—«Я не написал никогда ни одной статьи»,—говорит скромный автор в предисловии,—«обремененный моими постоянными, непосредственными служебными обязанностями, я мог приобрести лишь некоторые общие сведения по местному законодательству и государственному управлению». Тем не менее, эти «Размышления», написанные ясно, спокойно и связно, свидетельствовали как об основательном исследовании предмета, так и о зрелом, проницательном суждении гражданина. «Евреи приносят стране вред и могут даже стать опасными для нее. Но нам необходимо еще убедиться, могут ли они сделаться полезными». На этот вопрос Лукасиньский отвечает утвердительно. Он резко упрекает евреев в их заблуждениях и проступках, в «равнодушии к стране, в которой они живут». «Евреи—народ изобретательный, развращенный продолжительной эксплоатацией нашего крестьянства—не скоро откажутся от этого выгодного занятия». Но, вместе с тем, он под-

черкивает страшную нужду, царящую в среде еврейских масс, ответственность всего общества за «презрение, оказываемое евреям в самом широком смысле этого слова». «До тех пор, пока мы не перестанем оказывать евреям презрение... до тех пор мы не можем надеяться на то, чтобы они могли стать иными, чем теперь. Что такое любовь к родине и отчего это чувство чуждо евреям?.. Единственным и действительным связующим звеном этого чувства является любовь к известной стране и связь с известным народом. Тот, у кого нет во всей стране ни родных, ни друзей, наверно не будет привязан к ней». Вот почему нужно создать такое родство, дружбу и духовное общение. Затем автор указывает серьезные меры для народного образования евреев, допущения их в цехи и корпорации. Наконец, он настойчиво доказывает, что еврейский вопрос теснейшим образом связан с вопросом общей социальной реформы, а именно в области крестьянского вопроса. «Эпоха реорганизации евреев в нашей стране совпадет с эпохой просвещения крестьян». Что касается упомянутых четырех статей, то Лукасиньский строго осуждает обе анонимные брошюры—одну, где речь идет о насильственном выселении, как «совершенно нелепую,»— и вторую—как противоречащую понятиям о терпимости и свободе. Но он высоко оценивает разумные советы Вышиньского и, наконец, очень резко высказывается против статьи генерала Красиньского, не разделяет его ложных и тенденциозных в своей основе взглядов, а его более положительные выводы Лукасиньский считает целиком взятыми из других сочинений. Генерал, повидимому крайне возмущенный, отвечал в весьма резкой и довольно нелепой форме. Он издевался над Лукасиньским за его сострадание к еврейской бедноте, обвинял его в предосудительном «нерасположении к шляхте» и выступлении в роли еврейского защитника «против убеждений всей страны». Безусловная независимость убеждений Лукасиньского ярко характеризуется этой полемикой скромного майора с влиятельным командиром гвардии, в том же году произведенным в царские генерал-лейтенанты и в сеймового маршала, с которым считались военные и правительственные сферы, а в те времена—и общественное мнение. Тем временем приближалась решающая эпоха его жизни, исходный пункт его исторической роли и трагической судьбы. Лукасиньский был призван занять место вождя при выполнении одной из самых тяжелых и неблагодарных народных задач, требовавшей полного самоотречения и связанной с большою ответственностью—в тайном союзе. Результаты его работы—«Национальное Масонство и Патриотическое Общество в своем возникновении, росте и упадке»—находятся в такой тесной связи с политической историей Ц. П., что невозможно

точно понять и уяснить себе их, не ознакомившись, хотя бы в общих чертах, с параллельным течением этой истории. Кроме того, его деятельность находится в известной связи с политикой Александра I, его стремлениями и направлением его польской политики. Вот почему необходимо прежде всего несколько осветить эти вопросы общего значения, а именно те пункты, где они сходятся и тесно связаны с стремлениями Лукасиньского.

ГЛАВА II.

Лукасиньский и польское масонство.

Создание Царства Польского на Венском конгрессе в 1814—1815 г.г. совершалось среди тяжелых условий и поэтому оно было завершено лишь на половину и в ущерб польскому народу. Возрождению Польши рядом с Россией в более обширных территориальных размерах воспротивились как Западная Европа, так и решающий голос России. Не удалось даже спасти Герцогство Варшавское в его целом, так как существенную часть его пришлось отдать Пруссии для Познани; не удалось также добиться присоединения хотя бы части Литвы. Но и то, что осталось Царство Польское в своем позднейшем географическом составе, было создано с большим трудом и хуже всего, что не было уверенности в завтрашнем дне и в будущем не предвиделось полной безопасности.

Царство Польское получило тесную, урезанную территорию и, несмотря на некоторые недостатки, либеральную для того времени и в общем хорошую конституцию. Александр I, в расцвете сил, 38 лет от роду, вступая в управление Польшей, намеревался первоначально придерживаться и развивать конституцию и расширить территорию на счет Литвы, а в дальнейшем даже на счет Галиции и Познани. Но в то же время, верный своему двуличному характеру и подчиняясь своему обоюдоострому положению, сохранял за собой возможность во всякое время ограничить как конституцию, так и территорию. Эти две идеи, прогрессивная и регрессивная, освободительная и репрессивная, всегда совмещались в его голове, причем ни одна из них никогда не уступала вполне своего места другой и в известные периоды одна из них брала верх над другой. Первая — прогрессивная — преобладала в первой половине, а вторая—в последней половине того десятилетия, в течение кото-

рого ему суждено было еще жить и править Польшей. Его внутреннее раздвоение обнаружилось с самого начала при законодательном устроении Царства Польского и установлении в нем государственного аппарата. Это выразилось не только во внесенных лично им в текст конституции значительных ограничениях, но и, главным образом, в предоставлении Польши во власть Константина Павловича и под наблюдение Новосильцова. Из всех сыновей Павла Константин больше всего походил на отца и по его примеру больше всех ненавидел Екатерину. Он поражал и отталкивал с первого взгляда своею внешностью. В этом нескладном теле билась необузданная, дикая, безумно-пылкая душа. Он носил в себе двойное наследственное бремя—развращенность Екатерины и деспотизм Павла. Не обладая личною храбростью, он был проникнут слепою любовью не к истинному военному служению, основанному на самопожертвовании и чести, а к солдатчине мирного времени, к солдатчине парадов, казарм и железной дисциплине. В его болезненно-пылком и в своей основе слабом характере таились однако и более чистые, благородные элементы, как и в мрачной душе его отца. Поставленный в тупик и всем сердцем ненавидевший Константина, Немцевич говорит о нем: «Это чудовище—человек, делающий все с опрометчивостью, не имеет себе равного на земле—умный и безумный, жестокий и гуманный». И подобный человек, невероятное соединение самых противоречивых черт характера, был назначен главнокомандующим польских войск и тем самым и фактическим наместником Царства Польского. Но поляки, отданные во власть подобного правителя, умели своим влиянием по крайней мере отчасти подавить в нем злые инстинкты, разбудить лучшие чувства и в известной мере привязать его к себе. Константин вступил в управление Польшей, полный ненависти к ней, но, изгнанный из нее, ушел полный жалости к ней. Первые шаги его в Организационном Комитете обнаружили некоторую сдержанность и даже известное уважение к поседевшим на поле брани польским вождям, а также заботы о польском солдате. Но это продолжалось недолго. Под влиянием придворной камарильи, он вскоре обнаружил свое глубоко неприязненное отношение ко всему польскому и стал быстро и усиленно подкапываться под еще свежее и неустойчивое здание новой конституции. Болезненная подозрительность и беспощадная жестокость больше всего отозвалась, конечно, на польских войсках и приняла особенно резкую форму с назначением полномочным комиссаром Ц. П. Н. Н. Новосильцова—самого ярого и жестокого преследователя и мучителя Лукасиньского, заключавшего в тюрьмы и высылавшего в

10758

Сибирь несовершеннолетних детей за какую-нибудь польскую песенку. Кутила и пьяница, он превратил все политические процессы в Польше и Литве в источник своих доходов. Известно также, что он не даром старался так усердно уничтожить в Польше франмасонство, так как после закрытия масонских лож он воспользовался солидными капиталами польского Великого Востока. И хотя он, по обыкновению, постарался уничтожить все следы своих злоупотреблений, тем не менее они явно обнаружены позднейшими исследованиями. После первых столкновений Константина с Военным Комитетом осенью 1814 г. все выдающиеся вожди польской армии вышли в отставку, и таким образом армия всецело подпала под власть Константина. Вскоре последовали позорные и трагические события. За малейшие проступки как солдаты, так и офицеры подвергались самым жестоким взысканиям. Прославленные парады на Саксонской площади стали мучением и ужасом для польских офицеров, которых старались всячески задеть и унизить. Перед Пасхой 1816 г. покончил с собой оскорбленный Константином капитан Водзиньский, а за ним последовали многочисленные товарищи— один за другим. В течение первых четырех лет командования армией Константина насчитано до 49 самоубийств среди одних офицеров.

В начале марта 1818 г. Александр прибыл в Варшаву на первый польский сейм и оставался там около семи недель, до конца апреля. Тогда-то, гневно устраняя всякую оппозицию со стороны Константина и тогдашнего русского министра иностранных дел Каподистрии, Александр сделал огромный шаг вперед в деле освобождения Польши и дарования ей прав. Но, как оказалось позже, это была не более как ракета, мимолетный фейерверк красноречия или, как выразился со свойственной ему бесцеремонностью Константин, «слова императора являются не более как фальшивой монетой».

Пребывание Александра в Варшаве в 1818 г. было кульминационной точкой его благожелательных отношений к Польше.

Уже в 1819 г. эти отношения стали осложняться и портиться. Весной 1819 г. в варшавских газетах появилось несколько резких, оппозиционных статей. Статьи Кициньского и Моравского в «Ежедневной Газете» вызвали страшные репрессии со стороны Константина. Против издателей были приняты самые суровые меры, печатание газет было прекращено и типографии закрыты. В то же время, под давлением Константина, Зайончек издал ряд предписаний, касающихся цензуры периодических изданий и книг. Одновременно в среде войска произошло событие, еще более раздра-

жившее Константина, особенно внимательного к военной дисциплине. В июне обнаружилось, что находившийся в Замостье под арестом подпоручик второго полка пехотных стрелков Игнатий Погоновский составил план взятия крепости, предварительно убедив для этого гарнизон перейти на его сторону и затем вместе с ним ворваться в Галицию. Это безумное предприятие было заранее обнаружено и без всяких усилий ликвидировано. Но для предубежденного и подозрительного Константина этого было достаточно. В Петербург тотчас полетели донесения, рисовавшие в самых мрачных красках положение дел в Царстве Польском. Вся страна изображалась как находящаяся под влиянием грозных волнений накануне взрыва. Эти донесения вызвали новые репрессии, уже продиктованные Александром. Вот почему в 1820 г. во время своего пребывания в Варшаве на втором сейме он был настроен совершенно иначе, чем два года тому назад... Относясь подозрительно, недоверчиво, Александр как бы искал повода для того, чтобы взять обратно все свои обещания и предписания. Поводом послужила оппозиция сейма, вставшего во главе с Винцентом Немойовским на защиту свободы. Покидая Варшаву, Александр сказал брату, что дает ему «carte blanche», т.-е. полную свободу действий. Таким образом были покончены все счеты с конституцией и открыта широкая дорога для реакции и репрессий.

Это самый темный и до настоящего времени недостаточно выясненный момент в царствовании Александра. Вместе с тем это ключ к выяснению некоторых важнейших вопросов, связанных с его отношением к Царству Польскому вообще и к польским тайным обществам в частности. Эти, на первый взгляд, весьма отдаленные вопросы имеют, однако, непосредственное и часто даже решающее значение для выяснения многих важных и крайне сложных обстоятельств, касающихся возникновения тайных обществ и судьбы Лукасиньского. Надо заметить, что с 1821 до 1825 г.г. сильным влиянием на польские дела пользовался Новосильцов. Главным средством для удержания этого влияния послужили для Новосильцова непосредственные и непрерывные сношения его с Александром. При этом он все время старался поддерживать тревожное, подозрительное настроение императора, установившееся за время его последнего пребывания в Варшаве. Новосильцов, получив разрешение посылать императору еженедельные рапорты из Варшавы, стал широко пользоваться этим разрешением и буквально засыпал Александра постоянными донесениями о следствиях, заговорах и арестах, не давая ему опомниться и все глубже погружая его в душную атмосферу опасений и преследований. Существуют еще некоторые указания на то, что

*

Англия и Австрия, заинтересованные в недопущении угрожавшей ежеминутно в то время войны между Россией и Турцией, в числе иных дипломатических средств, прибегли к устрашению Александра возможным восстанием в Царстве Польском. Для этого пускались в ход различные английские или австрийские «фабрикации», умышленно подсовывавшиеся русской полиции, откуда уже доходили до Александра и производили на него желательное устрашающее действие. Результатом подобных дипломатических фабрикаций и донесений Новосильцова явились страшные репрессии и резкая перемена в отношениях Александра к Польше во втором пятилетии существования Царства Польского.

На таком общем фоне русско-польской жизни стала обрисовываться работа Лукасиньского, начатая первоначально в форме Национального масонства. То было время, когда во всех европейских государствах возникали одно за другим различные тайные общества, большею частью близкие к масонству или даже просто происшедшие из него. Самое большое количество тайных обществ появилось у самого угнетенного в те времена народа— итальянцев. Эти тайные общества заимствовали у масонства его формальную сторону, значительно улучшая при этом чисто организационную технику в смысле большей централизации работы и обеспечения тайны своей деятельности. Общества, возникшие в Пруссии, были большею частью санкционированы правительством и носили характер патриотической организации. По возвращении в Петербург из Вены после конгресса, Александр также задумал организовать у себя полутайное общество по образцу немецкого Tugendbund'a, выросшего из масонства. Он надеялся таким образом пересадить на русскую почву патриотическое немецкое общество и сделать его орудием своей политики для непосредственного влияния на общество. Так под эгидой Александра возродилось в России масонство в широких размерах и в направлении, точно соответствующем политическим стремлениям монарха. Масонство существовало в России с 1731 года, но широкое распространение оно получило лишь в 1815 г. по возвращении Александра из Парижа, где он был сам тогда принят в ложу. В том же году возникла в Петербурге утвержденная правительством Великая ложа Астрея, от которой разрослось, особенно в 1818 году, несколько десятков филиальных лож в различных местностях империи, главным образом в Петербурге и западных губерниях. В первую очередь организовались, под покровительством царя, военно-масонские ложи, в которых принимали участие самые выдающиеся гвардейские офицеры. Нельзя не отметить, что большую роль в русском франмасонстве уже в то время играли

поляки и были также специально польские ложи (Белого Орла). Но в 1822 г. (13 августа), когда Александр постепенно отрешился от своих либеральных начинаний, он решил уничтожить всякую терпимую до того времени деятельность тайных обществ в России и приказом на имя министра внутренних дел Кочубея распорядился закрыть все существующие в России под какими бы то ни было названиями тайные общества и, в особенности, масонские ложи. В это самое время (август 1822 г.) Александр, проездом через Варшаву, провел там целую неделю и интересовался первой стадией начавшегося тогда дела Лукасиньского.

Лукасиньский, за исключением своей принадлежности к военному масонству, не принимал до того времени никакого непосредственного и деятельного участия в работе тайных союзов, предшествовавших созданию Царства Польского. Он возвратился на родину для несения военной службы, но не для политической и, тем более, конспиративной деятельности. Но вскоре ему пришлось вступить и на этот путь не из склонности к подобной деятельности, не из самолюбия, не в ослеплении забияки и с легким сердцем, а потому, что должен был вступить на него, движимый тяжелой судьбой народа и сознанием своей тяжелой обязанности гражданина. Психологический процесс, толкнувший его на этот путь, важный для понимания человека и его деятельности, имеет еще и более широкое значение. Лукасиньский указал сам на некоторые психологические побуждения, направившие его на избранный им путь как в своих более подробных показаниях вскоре после приговора, так и в предсмертных автобиографических и политических записках, написанных в уединении шлиссельбургской крепости, вдали от мира живого. И хотя ко всем этим позднейшим тюремным свидетельствам следует относиться не иначе как с большою осторожностью, принимая во внимание исключительные обстоятельства, среди которых они составлялись, все-таки в них можно найти не одно вполне естественное и правдивое психологическое и историческое указание.

«Вспоминаю часто,—говорит Лукасиньский в своем собственноручном показании,—когда в 1814 г. нам, находившимся в австрийском плену в Венгрии, приказали возвращаться на родину, мы знали почти наверно, что возвращаемся под прежнее управление страной, при котором мы ее покинули. Неуверенность в нашей судьбе, связанная с мыслью увидеть разоренный мстительным врагом край, наполняли мою душу таким трепетом, что я с отвращением приближался к границам бывшего Герцогства. Но, каково было мое удивление, когда, по прибытии в Краков, я увидел веселые и довольные лица, всюду и везде говорили о благосклон-

ном покровительстве царя осиротевшему народу. Хвалили членов временного Верховного Совета, в особенности Ланского, Вавжецкого и кн. Любецкого, тешили себя надеждой на восстановление Польши и будущее благосостояние, надеждой, которую им велел питать милостивый монарх. Ничто не может сравниться с тою радостью, наполнившею наши сердца, при виде того, что милостивое небо ниспослало нам такую неожиданную помощь и покровительство. Начались рекрутские наборы, офицерам стали выплачивать жалованье. Эта новая, никогда не практиковавшаяся щедрость, как плата жалования бездействующей армии, совершенно покорила нас. Я находился в это время в столице в обществе офицеров различных чинов и оружия и мог поэтому лучше всего убедиться в общем настроении.

«Настало время создавать полки, и здесь, как по мановению волшебного жезла, все изменило свой прежний вид.

«Неслыханная до сих пор суровая дисциплина и часто повторявшиеся примеры строгости—быть может, и очень нужные, ибо кто из частных людей может знать виды и намерения правительства—наполняли мою душу несказанной печалью. Мне казалось слишком строгой мерой неслыханное у нас до сих пор исключение офицеров из списков. По счастливой случайности, я попал в четвертый линейный полк. Благодаря знакомству со всякими правилами организации, я стал необходимым помощником полковника Мыцельского и заслужил его доверие. Этот уважаемый командир, преданный своим обязанностям, ответственный перед правительством и нами самими за наше дурное поведение, часто рекомендовал мне, в виду моих постоянных сношений, по обязанностям службы, со всеми офицерами, напоминать им чаще и просить, чтобы они вели себя спокойно. Пример, подаваемый высшими офицерами, и мои старания выполнить данное мне поручение вполне удовлетворяли ожидания командира. Слыша вокруг себя нарекания, я старался не увеличивать число этих плачущих господ, но изливал иногда свою скорбь перед теми, кому доверял, как-то: перед Махницким и Козаковским, жалея стольких несчастных офицеров, самым большим преступлением которых была болтовня. Это недостаток, являющийся почти отличительной чертой поляков и, если не ошибаюсь, на-веки неискоренимый. Мы вспоминали, как всюду проклинали Наполеона и французов, иногда и справедливо, но все-таки усердно помогали им; бранили Понятовского и однако любили его!..»

К этим сдержанным следственным показаниям, предназначавшимся для Константина, позднейшие, написанные уже перед лицом смерти, шлиссельбургские записки Лукасиньского прибавляют

гораздо более резкие и правдивые сведения. Здесь он мог открыто описать те ужасные впечатления, которые должна была произвести на него, как поляка и офицера, применявшаяся Константином «тирания в армии». «Во время смотра прибывшего из Франции отряда, один солдат, выступив, как это было принято, вперед и отдав честь, хотел доложить о чем-то—наградой за такую мнимую дерзость было сто палочных ударов. Тогда-то мы узнали и убедились, чего можно ожидать от подобного вождя. Самым малым наказанием за малейший проступок было сто палок; в других случаях доходило до тысячи. Он не любил проливать кровь, но находил удовлетворение в истязании людей. Кандалы, состоящие из пушечных ядер с цепями весом в 18 фунтов, заключенные носили сплошь и рядом на спине во время тяжелых работ. Всякий раз, когда Константин бывал в Замостье, он ходил среди узников, из которых очень многих знал и при своей необыкновенной памяти помнил их имена и проступки, и с величайшим удовольствием издевался над ними. Рекрутский набор производился в конце осени и в начале зимы. Но Константин желал, чтобы к весне они могли уже вступить в ряды войск, и поэтому приходилось обучать их зимой, несмотря на мороз и ненастье. Молодой рекрут, лишенный своего тулупа или тяжелой сермяги, в легкой поношенной одежде, обучался маршировать. Само собой понятно, что необходимо было очень крепкое здоровье для того, чтобы не простудиться и не получить чахотку. Но это считалось пустяком».

Затем Лукасиньский, на основании своих технических сведений, указывает на самые разнообразные—в мелочах и серьезных делах—отрицательные стороны военного командования Константина. И, отдавая справедливость его усердным заботам о материальной и внешней стороне благосостояния простого солдата, Лукасиньский сурово упрекает Константина в «развращении военной администрации, удаляемой за то, что она была хорошей», в «ловко посеянной розни между русскими и польскими войсками», в систематическом унижении польского офицерства и т. д. Особенно скорбит этот заботливый майор четвертого полка, вспоминая, как в результате приказа Константина от сентября 1819 г. перевести полк в новые плохо построенные казармы—среди солдат вспыхнуло заразительное воспаление глаз, «вследствие которого лишились зрения известное число офицеров и много солдат». Но Лукасиньский не был только военным, и исключительным предметом его забот были не только эти, хотя и очень важные, специальные обвинения. Напротив, он прекрасно понимал различные стороны политического положения страны как в области

внутреннего хозяйства, так и по отношению к монарху. Он охватывал все основные вопросы—общественные, конституционные, законодательные, отдавал себе отчет в их свойствах и делал вывод, на основании принятого ими неблагоприятного оборота—что необходимо предпринять что-нибудь оздоровляющее их. Нужно отметить, что Лукасиньский давно и живо заинтересовался крестьянским вопросом. Ему были известны освободительные намерения Александра, и не чужды были ему также проекты, касавшиеся устройства польских крестьян.

Этот вопрос был затронут еще до восстановления Царства Польского по первоначальной инициативе Костюшки. Лукасиньский был также знаком с вопросными пунктами, разосланными по всей Польше Чарторыйским и редактированными Городыским, от которого Лукасиньский и мог получить сведения об этом. Более подробные сведения о крестьянском вопросе он получил несомненно от одного из наиболее близких ему в то время людей, адвоката Шредера, который близко соприкасался с народом, был замешан в 1817 г. в дело Рупиньского и выступал в качестве энергичного заступника крестьян против собственников и арендаторов, как защитник ломжинского трибунала и уполномоченный угнетаемых крестьян. Шредер лелеял широкую мысль соединения крестьянского и общенародного дела. «Этот спокойный человек,—говорит о нем Лукасиньский,—составил себе еще иной план объединения родины, а именно заинтересовать и вызвать восстание всех крестьян, обещая им какие-нибудь особенные свободы». Когда однажды возник разговор по этому вопросу между ним и Махницким, Шредер, возвращаясь к своему плану, сказал: «Если придется обратиться к крестьянам,—что мы можем обещать им?» Здесь Махницкий, выйдя из себя, употребив неприличное выражение, спросил его: «Что же ты можешь им дать? Что ты можешь им обещать?» Вскоре после этого Шредер пришел ко мне и жаловался на Махницкого. Я сказал ему: «Твоя мысль очень хороша, но преждевременна. Ты хочешь приступить к жатве прежде, чем посеял». Из вышеприведенных слов Лукасиньского, взятых из одного из его показаний, можно вывести заключение, что он, подобно Махницкому, был противником наделения крестьян землей путем экспроприации и скорее склонялся к способам, основанным на выкупе, который имел в виду в свое время Костюшко. Насколько этот вопрос был близок ему, ясно свидетельствуют чувства, выраженные им несколько десятков лет спустя в Шлиссельбурге: «Не позаботились об обеспечении и утверждении свободы для крестьян. Следовало обязательно устроить этих людей, составляющих всю мощь государства».

Обремененное войной, временное правительство Герцогства не могло этого довести до конца, и после того решение судьбы крестьян было отсрочено. Александр, много говоривший об освобождении крестьян во всех губерниях, населенных поляками, велел подавать прошения, но забывал о тех, которые были уже свободны и ждали лишь установления отношений между землевладельцами и населением этих земель. Это положило начало недоразумениям между этими классами. Некоторые поляки, еще до создания Царства Польского, обратились, вероятно с разрешения государственного совета, ко всем жителям, требуя представления проектов, касающихся вышеуказанного вопроса. Проекты посыпались со всех сторон и направлялись в министерство внутренних дел. Когда же объявили о восстановлении Царства Польского, о конституции и новом правительстве—никто о них не вспомнил. Некоторые неблагоразумные землевладельцы, ослепленные корыстолюбием, в случаях спора с крестьянами, говорили: «ваша свобода окончилась, царь не любит свободы, не дал ее никому в своем государстве и не позволяет даже думать о ней; о вашей свободе написано много проектов, но они были оставлены без последствий». Отсюда возникла ненависть и взаимное недоверие между шляхтой и крестьянами... Меня удивляет лишь то, что на трех сеймах (при Александре) не поднимался даже вопрос о крестьянах»...

У Лукасиньского складывались одновременно и в других вопросах, как более общих, так и чисто национальных, историко-политические убеждения различными путями, но в общем выводе повлиявшие на его окончательное решение, несмотря на критический склад ума, несмотря на свою чисто национальную индивидуальность, он был поклонником Наполеона. И это поклонение выражалось не в рабской преданности, не в слепом и наивном энтузиазме, а было основано на трезвом суждении и здравом понимании народных интересов. «И Александр, и Наполеон стремились восстановить Польшу, но цели их были различны. Первому Польша нужна была для себя; второй требовал ее существования для человечества и для безопасности Европы и—прибавлю еще—питая тайную надежду приобресть для Франции благодарного и могущественного союзника. Правда, Наполеон сначала требовал жертв, не давая никакого определенного обещания, и позже, создав Герцогство Варшавское, все еще требовал новых жертв... И этот «обманщик» умел настолько очаровать поляков, что даже теперь имя его благословляется как во дворце богача, так и в убогой хате крестьянина?..»

У Лукасиньского были довольно точные сведения о положении польского вопроса на венском конгрессе, об отрицатель-

ном отношении западных держав, и в особенности Англии, к восстановлению Польши. Гарантии конгресса он считал во всех отношениях недостаточными: «Постановления конгресса я находил и нахожу написанными в столь неясных и неопределенных выражениях, что они не могут даже быть названы обязательными для кого бы то ни было». Ему были знакомы—и притом с малоизвестными в то время подробностями—жалобы Чарторыского царю на Константина, имевшие целью добиться удаления его из Варшавы. Он знал о безусловно враждебном первоначальном настроении цесаревича, который, «сидя как циклоп в своей пещере», подстрекаемый и направляемый Новосильцовым, старался разрушить конституцию и самое Царство Польское. Он знал, наконец, точно о литовских обещаниях Александра, понимал их первостепенное значение, но полагал, что не следует выжидать, сложа руки, их осуществления, а, вооружившись инициативой, пойти им навстречу, ускорить и обеспечить их реализацию, охраняя одновременно конституцию Царства Польского от вносимых в нее ограничений. Подобного рода мысли, продиктованные, с одной стороны, основными конституционными и территориальными задачами, с другой стороны, возникшие под влиянием первоначального непримиримого отношения Константина и его дикого военного командования, стали теперь проникать в общественное самосознание Польши. У самых опытных и благоразумных людей стало невольно зарождаться убеждение, что так продолжаться не может и что необходимо заранее подумать об обеспечении самых насущных общенародных интересов.

«Человек, не имеющий никакого значения,—так писал о себе восьмидесятилетний старик в своем вечном заключении, подводя последний итог своей жизни,—которое дается рождением, средствами, заслугами или известными талантами, взял на себя тяжелую и опасную миссию—принести помощь и облегчение несчастным соотечественникам, поднять народный дух, направить умы к одной цели, сблизить людей между собой, внушить им взаимное уважение и, наконец, надежду на лучшую будущность. Видя тяжелое положение войска и нелучшее положение всей страны, принимая во внимание, что никто не думает дать какое-нибудь облегчение, я решил сам искать исхода. Из числа различных средств я избрал франмасонство, как влиятельное и терпимое в стране. Нужно было только приспособить это учреждение к предпринятой цели, ограничив сферу его влияния и превратив его из космополитического в национальное».

Масонские ложи, как известно, организованы в XVIII в. в Англии. В первой половине XVIII века масонство проникло в

Саксонию, а оттуда непосредственно привилось в Польше. Организатор первой дрезденской ложи «Трех белых орлов» (1738 г.) граф Рутовский, сводный брат короля, открыл в следующем году отделение этой ложи в Варшаве (1739 г.). Во второй половине того же века, как в иных странах, так и в Польше, масонство, служившее до того времени главным образом пустым, бесцельным барским развлечением, стало приобретать известное политическое значение. В 1789 г. к Великому Востоку принадлежали все самые выдающиеся сторонники реформ, и работа лож была в тесной связи с политической работой четырехлетнего сейма. Наконец, деятельность масонского Великого Востока в Польше, приостановленная в 1792 г., временно снова оживилась во время восстания Костюшки, затем совершенно прекратилась в конце 1794 г. вместе с последним разделом Польши и падением Речи Посполитой. С момента возникновения Герцогства Варшавского немедленно возродилось прежнее польское масонство, но на совершенно новых началах, войдя в тесную связь, вместо прусских и английских организаций, с французским Великим Востоком. Одна за другой возникали с 23 декабря 1807 г. объединенные французские и польские ложи и обновлялись старые. В масонских ложах состояли отныне почти все министры, множество выдающихся государственных деятелей и военных. В течение 1811 и 1812 г.г. были приложены все усилия к тому, чтобы масонство приняло чисто национальный характер и не прекращало своей деятельности.

Еще в 1813 году, по занятии Варшавы русскими, некоторые ложи продолжали тайно свою деятельность.

Когда местные дела приняли более благоприятный оборот, польский Великий Восток занял свое прежнее выдающееся положение и мог даже значительно расширить свою работу, и в августе 1814 г. официально была открыта первая ложа, по возвращении в Варшаву великого мастера Станислава Потоцкого. После венского конгресса произошло торжественное третье восстановление (24 мая 1815 г.) польского национального Великого Востока. Здесь решающее влияние оказало отношение самого Александра. Решив воспользоваться масонской организацией для своих политических целей, царь, приблизительно в это время, вернее во время своего первого пребывания в Париже, установил сношения с масонством, признав его формально. И не подлежит никакому сомнению, что с тех пор Александр, хотя и в величайшей тайне, числился официально членом польского Великого Востока. При этом Александр вносил довольно значительные суммы на специальные благотворительные дела. Нет возможности определить точно сумму этих взносов, но в кассу варшавского Великого

Востока, как оказалось, было им внесено несколько десятков тысяч польских злотых, а в момент секвестра тамошних масонских капиталов нашли среди них тайную рубрику личного счета монарха в 29.146 п. зл. Александр, в своих отношениях к масонству, стремился превратить его в государственное учреждение, подчинить его своему ближайшему надзору и руководству. В этом вопросе, как и в других, Александр обнаруживал двойственность, одновременно созидая и разрушая. Он хотел воспользоваться польским масонством для соответствующей подготовки общественного мнения, для проложения пути своим политическим начинаниям и польско-русскому сближению.

Лукасиньский принадлежал к масонству уже давно, вероятно со времени своего вступления в военную ложу во время галицийской кампании 1809 г., но не достиг высшей седьмой ступени розенкрейцера, не состоял в Высшем Капитуле, и его имя не найдено в сохранившихся списках главных капитулов масонских лож. Однако, он был очень хорошо осведомлен о всех самых насущных делах Великого Польского Востока во время восстановления Ц. П.; ему был известен весь ход предпринятой конституционной реформы и возникших на этой почве раздоров среди польского масонства. Из близких Лукасиньскому людей в делах Высшего Капитула встречается имя Шредера, возведенного в апреле 1819 г. во вторую ступень. При этом следует отметить поразительную подробность: Шредер был посвящен в кавалеры Розового Креста—стариком Макроттом. Этот отставной, несмотря на свой еще преклонный возраст, деятельный шпион сначала Игельштрома, а под конец Константина, издавна щеголял с розовым крестом на груди в варшавском провинциальном капитуле, в собственном помещении капитула, некогда знаменитом дворце Дзялыньских. Здесь четверть века тому назад происходили перед восстанием совещания заговорщиков во главе с Костюшко. В то время за ними шпионил тот же, торжественно выступавший теперь, масонский сановник капитула. В том же капитуле объединенных братьев заседал также бывший командир Лукасиньского, будущий шпион, полковник Шнайдер. Состоявший в дружбе с Лукасиньским, Бродзиньский занимал влиятельный пост секретаря Великого Востока, принадлежал к самым деятельным представителям оппозиции и изложил по его поручению весь ход конституционного спора в виде объяснения для более широкого круга масонов. Но самым серьезным информатором Лукасиньского был, несомненно, Венгжецкий, заседавший в Высшем Капитуле, бывший одновременно полномочным представителем провинциальной литовской ложи при варшавском Великом Востоке. Он был посвя-

щен во все тайные сплетения и сталкивавшиеся здесь течения, главные факторы, пружины и следствия которых находились далеко за пределами причудливо-театрального масонства, лежали в области серьезных, насущных жизненных вопросов и были очень тесно связаны с соответствующей, чисто политической ориентацией самого монарха.

Эта неизменно двойственная и потерпевшая перелом в 1818—1820 г.г. ориентация монарха была такого рода, что вносила всюду дезориентацию. Его изменчивое отношение, попеременно благосклонное или враждебное—то придавало смелость, то сбивало с пути. Масонская польско-литовская уния была предпринята и заключена не иначе, как с его одобрения, на что явно ссылался в своих конфиденциальных разъяснениях варшавский капитул. Но вместе с тем им равно были санкционированы все строгие применения правил. Он то строго придерживался своих собственных обширных предначертаний, оповещенных на четырехлетнем сейме, то руководствовался тактикой, приспособленной к задачам русского масонства и связанных с ним организаций (упраздненного Союза благоденствия и, главным образом, искусно созданного чуть ли не по непосредственным указаниям царя и под его контролем русского Tugendbund'a—Союза общественного благоденствия).

Лукасиньский — скромный пехотный майор, Лукасиньский вместе со своим четвертым полком был, правда, не раз предметом гордости Константина во время представления полка Александру на парадах и маневрах. Но, повидимому, Лукасиньскому никогда не представился случай лично подойти ближе к царю. Несомненно одно, что Лукасиньский зорко приглядывался к царю, старался проникнуть взором в его скрытную душу и проникал довольно глубоко, так как еще по истечении полувека в своих шлиссельбургских записках называет его «принужденным и искусственным» (artificiel), замечает в нем под улыбающейся маской—притворство, а в глазах—какую-то неуверенность и безумие». Что касается Константина—то Лукасиньский, высоко ценимый своим начальством, как выдающийся, примерный офицер, был лично хорошо известен цесаревичу.

В последних своих записках, вспоминая свои разговоры с Константином, он приводит слова его: «я знаю, что ты ешь на обед!». Из того, что Лукасиньский в своих тщательно и обдуманно составленных следственных показаниях два раза упоминает, что «вследствие последующих доносов Константин потерял веру в мой характер»—вытекает, что до этого он пользовался этим довольно близким доверием.

В начале 1819 г., когда с одной стороны обнаружился перелом в польском масонстве, а с другой—вызванные речью Александра на прошлогоднем сейме, казалось, близкие к осуществлению надежды, когда одновременно, повидимому, созревали и другие широкие либеральные замыслы монарха, один из самых выдающихся людей этого круга, Венгжецкий сделал Лукасиньскому чрезвычайно знаменательное заявление. Он сообщил ему, что «в беседе с генералом Ружнецким слышал от него, что польское масонство не представляет для поляков той пользы, какую могло бы представлять, если бы в него было внесено хоть немного *национального* элемента». Эта провокаторская инсинуация Ружнецкого, приведенная в вышеупомянутых общих и осторожных выражениях в одном из первых показаний Лукасиньского, явилась одной из серьезных побудительных причин, ускоривших решение Лукасиньского создать *национальное* масонство. «Мысль генерала Ружнецкого—свидетельствует Лукасиньский позднее, в более обширном и исчерпывающем собственноручном показании, что масонству следует придать национальный характер—была для меня настолько убедительной, что из опасения, чтобы он не предупредил меня, я приступил самым спешным образом к созданию подобного общества».

Весьма важно отметить, что основной принцип—*национальность*, на которой, как на главном фундаменте, Лукасиньский построил все свои общественные взгляды, вполне соответствовала тем политическим взглядам на польский вопрос, которые официально высказывал Александр. Признание польской народности, как общего правового и политического фактора, связующего все три разделенные области, составляло в полном смысле слова главную часть постановлений венского конгресса. Этот принцип был торжественно санкционирован Александром в его первом обращении к полякам.

Таким образом организация, основанная на национальности, не была еще сама по себе революционной по отношению к Александру и даже с известной точки зрения являлась как бы удобным вспомогательным учреждением, идущим рука об руку с первоначальными широкими реформаторскими задачами его польской политики. Несомненно, что Лукасиньский так понимал первоначально свое предприятие. Он стремился объединить и поднять национальное чувство во всей Польше и в армии и хотел вместе с тем подготовить народ и армию для того, чтобы ускорить проведение в жизнь упомянутых намерений Александра; очевидно, он верил, что царь не откажется от своих обязанностей и обещаний. При этом для Лукасиньского было важно, чтобы, в противном

случае, народ сохранил всю свою энергию и был готов отстоять свою свободу. Лукасиньский совершенно не думал о преждевременном восстании. Он понимал, что необходима более глубокая и длительная подготовка и что для этого требуется время и безопасность. С этою мыслью, после продолжительного зрелого размышления, окончательно побуждаемый к этому упомянутым сообщением Венгжецкого, Лукасиньский приступил весною 1819 г. к организации Национального масонства.

Церемония открытия Национального масонства состоялась в Варшаве 3 мая 1819 г. Первые совещания происходили в квартире Шредера и в присутствии подполковника Козаковского.

С самого начала, при составлении первых статей устава, в среду основателей был введен — факт весьма знаменательный — малознакомый Лукасиньскому, хотя и товарищ его по галицийской кампании, а теперь представитель правительства, как адъютант военного министра Гауке, Скробецкий. Он доставил Лукасиньскому известный немецкий манускрипт об устройстве масонских лож, взятый из бумаг Гауке. Это напоминает факт снабжения таким же документом организаторов русского Союза Благоденствия, основанного за несколько месяцев до того в предшествовавшем 1818 г. Работа по составлению устава Национального масонства была распределена следующим образом: Лукасиньскому поручалась редакция общего проекта конституции союза, Козаковскому—церемония посвящения членов, Шредеру—порядок работ, Скробецкому—инструкция по требующимся от членов союза квалификациям. Основным правилом было установлено, что к союзу могут принадлежать лишь одни военные и франмасоны. В качестве мнимой основной цели была выставлена взаимная помощь и «сохранение национальности и славы поляков живых или умерших, которые словом или делом способствовали прославлению своей родины». Все это должно было однако подготовляться и приводиться в исполнение в величайшей тайне, в чем основатели давали друг другу особую клятву перед вступлением в союз.

Организационные совещания происходили летом и осенью 1819 г. в течение полугода то у Шредера, то у Лукасиньского и Козаковского, то—подробность также не без значения—в квартире полковника Мыцельского в его отсутствие. Принимали участие своими советами Венгжецкий и Махницкий, как достигшие высших ступеней масонства и поэтому хорошо знакомые со всей его обрядовой стороной. Помимо установленного разделения труда, самую главную редакторскую работу во всех частях производил один Лукасиньский, вероятно советуясь с глазу на глаз с Мах-

ницким. Национальное масонство разделялось, как обычно, на капитул и ложу, но они были гораздо более обособлены друг от друга, чем в обыкновенном масонстве. Капитул составляли одни лишь учредители, и он был безусловно тайным. Члены его пользовались вместо своих имен псевдонимами, соответствовавшими их инициалам: Лукасиньский назывался Ликургом, Козаковский— Катоном, Шредер—Сципионом (Szreder), Скробецкий — Солоном. Махницкий, избранный почетным членом капитула, держался принципиально в стороне, не подписал ни одного акта и не пользовался псевдонимами.

Конституция союза была выработана в виде двух отдельных частей для капитула и ложи. Первую часть устава подписали четыре основателя союза своими псевдонимами; из второй части издавались только извлечения без подписи. Позже Махницкий занялся соединением обеих частей в одно. Но не сохранились ни этот единый устав Национального масонства, ни самая важная первая часть, вероятно позже вошедшая в устав Патриотического Общества. Найдено лишь одно отдельное извлечение из второй части, остальные подробности приходится восстанавливать по различным показаниям.

Образцом для Национального масонства послужила самая простая старая английская система деления масонов на три разряда: учеников, подмастерьев и мастеров. Для каждого разряда существовал свой ритуал, разделенный на отдельные статьи о декорации лож, их открытии и закрытии, катехизис данного разряда и т. д. В обычные символические масонские обрядности в польском национальном масонстве внесены еще различные изменения и дополнения для того, чтобы придать ему чисто национальный характер. Напр., читали стихотворение Красицкого «Святая любовь к отчизне», в катехизисе в ответ на вопрос: «как тебя зовут?», вместо обычного масонского «Тубал-Каин», значилось сначала «Стефан Баторий», а позже «Чарнецкий». Во втором разряде подмастерье (товарищ) обязывался присягой к «неограниченному послушанию» капитулу и мастеру и к хранению «тайн, присущих моему теперешнему разряду, не сообщая их никому чужому, ни члену низшего разряда масонского союза, хотя бы это стоило мне жизни». Затем мастер, принимающий нового члена, произносил речь, составленную целиком Лукасиньским.

Необходимо отметить, что Лукасиньский обнаружил здесь, при введении в устав польского национального масонства масонских обрядностей третьего разряда, глубокую вдумчивость.

Согласно легенде, открываемой адептам третьего разряда обыкновенного масонства, аллегорический Хирам, строитель Соло-

монова храма и покровитель масонства был убит тремя подмастерьями — изменниками, нанесшими ему три смертельных раны — у западных, южных и, наконец, у восточных врат, где он пал мертвым, завещая своим потомкам священную месть и восстановление храма. Эту древнемасонскую аллегорию Лукасиньский перенес на Польшу трех разделов, три раза раненой, но бессмертной и ожидающей своего возрождения и отмщения Речи Посполитой. Это была светлая, современная идея, и нелепая масонская формалистика была для нее не более как внешней оболочкой. В ней таилась какая-то особенная поэтическая нежность, способная извлечь из этих пустых, затасканных, космополитических обрядностей известные, влияющие на польское воображение, моменты и вызвать в польской душе специфические национальные отзвуки. Здесь оказал влияние и нарождавшийся в то время романтизм. Этот майор четвертого полка принадлежал к поколению, которое еще читало Оссиана, хотя бы в новом переводе Бродзиньского, и начинало уже зачитываться Байроном. А упоминание о «гробницах» в катехизисе для посвященных второго разряда (подмастерьев) Лукасиньский заимствовал у революционера Вольнея, знаменитую книгу которого «Развалины или размышления о народных революциях», переведенную на родной язык для блага польского народа — во время восстания Костюшки — он очевидно читал еще в молодости. «Приветствую вас, священные гробницы, уравнивающие короля и раба, немые свидетели священного принципа равенства — гласило знаменитое обращение в «Развалинах». — «Я увидел тень, поднимающуюся с гробниц и направляющую свои шаги к возрожденной отчизне». Быть может, это является также отголоском прославившейся в те времена элегии «Isepolcri» изгнанного из собственного отечества Foscolo, автора популярного «Ortis'a». У Вольнея Лукасиньский заимствовал также эмблемы в виде урны и меча, аллегорию законодателя Ликурга, и несомненно почерпнул для себя не одну яркую мысль из этой пламенной апологии лозунга «свобода, равенство и справедливость».

Первым и единственным распорядителем Национального масонства «высокопреподобным мастером» был от начала до конца Лукасиньский, но лишь с титулом «наместника начальника». — «На пост начальника», как он утверждает сам, мы искали с самого начала какое-нибудь выдающееся лицо. На этот пост предназначался Венгжецкий, очевидно больше ради авторитета и, вернее, для вида, так как совершенно не подходил для подобного рода деятельности. Как бы то ни было, но фактическое руководство было всецело в руках Лукасиньского. Повидимому, он уже тогда имел в виду, в случае необходимости, пригласить на пост

начальника находившегося в Дрездене генерала Князевича. Членский взнос достигал по первому разряду 6 польск. зл., во втором разряде—12 польск. зл., а в третьем—18 польск. зл. ежемесячно и был довольно значителен при их скромных средствах; позже взнос был до одного франка, по примеру французских союзов. Кроме того Лукасиньский сделал вначале значительный взнос из собственных средств на неотложные текущие расходы, отказавшись от его возвращения и прося записать эти деньги в статью доходов. Эти взносы предназначались большею частью на филантропические цели, главным образом на пособия для неимущих воинов и их семейств. Кассиром состоял сначала Скробецкий, а затем поручик четвертого полка Тарновский.

Большинство членов принял на свою ответственность Лукасиньский, и, несмотря на то, что ложа первоначально предназначалась лишь для военных, он принял в число членов много гражданских лиц и в том числе Бродзиньского. Кроме того были приняты меры для широкого распространения возможно большего числа лож в провинции. Деятельность Национального масонства, согласно руководящей идее его, не должна была ограничиваться территорией Царства Польского, а распространялась и на остальные области разделенной Польши. Польское масонство оказало большое влияние на широкие общественные круги и в особенности на молодежь, среди которой стали возникать общества и союзы университетской молодежи. Эти союзы были большею частью плодом самых чистых порывов молодой души, лишенных революционного характера. Главным двигателем их было чувство взаимной братской любви, любовь к науке, свободе и больше всего — горячая любовь к своей родине. Все эти многочисленные союзы польской молодежи оставались в весьма отдаленной связи с Национальным масонством, хотя бессознательно все они склонялись к нему, во имя общей патриотической идеи. Вместе с тем, уже в силу своей многочисленности и юношеской неосторожности, они невольно подвергали опасности деятельность Лукасиньского, тем более, что в начале 1820 г. власти удвоили свою бдительность; во все стороны была направлена полиция, и Новосильцов напал на след тайных организаций. Лукасиньский ясно представлял себе затруднительность положения и грозившую польскому масонству опасность.

«На каждом заседании ложи я советовал сохранять скромность и сдержанность в обычных разговорах, чтобы ни единым словом не задеть правительство. Наоборот, я советовал отзываться о нем всегда с похвалой. Наш уголовный кодекс (масонский) предписывал исключение из общества тех, которые, после

двукратного напоминания, в третий раз не исполнили этой обязанности. Я не ставлю себе этого в заслугу и поступаю так не из любви к правительству, а из осторожности». Но было слишком трудно сдерживать в теоретических рамках подобного рода организации, стремящиеся к практической деятельности. Эта трудность является неизбежною слабой стороной каждой подобной организации, представляющей по своему характеру скопление энергии высокого напряжения, прилагаемой к усиленной работе революционным темпом. При необыкновенной бдительности Константина и Новосильцова положение польского масонства становилось весьма рискованным. Опасность увеличивали еще такие горячие головы, как Шредер и посвященный в тайны Национального масонства полковник Шнайдер.

Шредер занялся составлением проекта новой конституции для народа и главным образом движимый своею излюбленною и столь революционною в тогдашних условиях мыслью привлечь крестьянство обещанием безвозмездного наделения землей. Еще неистовее вел себя полковник Шнайдер, постоянно кричавший о республике и необходимости немедленно революционизировать низшие слои городского варшавского населения.—«Я вижу, что ты не знаешь Варшавы,—говорил он раздраженно тщетно сдерживавшему его Лукасиньскому.—Ты судишь о ней по высшему классу людей, по купцам и некоторым избалованным ремесленникам. Познакомься с людьми тяжелого труда, как-то—с мясниками, кузнецами и т. п., и будешь иначе судить о Варшаве. Нужно, чтобы ты, переодевшись, отправился со мной вечером в различные харчевни, где эти люди проводят время, и тогда ты узнаешь их и убедишься, каким доверием я пользуюсь у них».

В виду подобных условий, Лукасиньскому приходилось считаться с возрастающей со дня на день опасностью обнаружения деятельности польского масонства и с другой стороны—с несдержанными порывами отдельных членов союза, которые могли ежеминутно способствовать гибели всего предприятия. Вот почему Лукасиньский вынужден был держать кормило крепкою, почти диктаторской рукой, не считаясь со своими соучастниками. При его суровом по природе своей, непоколебимом до резкости, характере его поступки вызывали недовольство, озлобление и зависть, глухие жалобы на деспотизм и пренебрежение. «Лукасиньский, казалось, хотел взять на себя всю ответственность», так характерно суммирует все обвинения один из его противников и учредителей союза. Так было в действительности, и это лучше всего характеризует Лукасиньского и положение национального масонства.

*

Среди подобных условий опечаленному Лукасиньскому приходили в голову весьма грустные и глубокие мысли. «Достойно внимания и дальнейшего исследования, почему национальное масонство, поставившее себе такую ясную и довольно определенную цель, каковою является национальность, оставило своих членов в неуверенности и, если можно так выразиться, в полной неизвестности по отношению к этой цели, позволяя каждому из них создавать себе цель по своему усмотрению. Почему Вронецкий и Кикерницкий видели в польском масонстве Tugendbund, Шнайдер—республику, Шредер—моральное средство объединения Польши, Скробецкий—возвращение армии в то положение, в каком она находилась во времена Герцогства Варшавского, Масловский—ниспровержение старого масонства, а жители Великой Польши—тайную подготовку революции? Для того, чтобы ясно и кратко ответить на этот вопрос, приведу мнение одного из философов XVII века: «Для людей грубых и неотесанных необходима религия столь же грубая и неотесанная, как они сами». Национальность была слишком тонкой для этих людей. Это был дух, не поддававшийся их осязанию; им нужно было что-то материальное, иначе каждый из них создавал себе цель по своему вкусу, точно так же, как идолопоклонники создают себе идолов». Часть этих печальных мыслей следует отнести на счет reservatio mentalis признания во время тюремного заключения, где приходилось умалчивать о революционной идее союза.

Но в них просвечивает одновременно искреннее убеждение Лукасиньского—плод тяжелого опыта.

В виду всех вышеупомянутых обстоятельств, приблизилось время закрытия национального масонства, и нужно было сделать это, не теряя времени.

Лукасиньский воспользовался существовавшими в среде союза раздорами и претензиями к нему и, собрав всех основателей и главных членов, объявил о прекращении деятельности Национального масонства. Это произошло в августе 1820 г., после почти шестнадцатимесячного существования организации.

Вскоре после этого Лукасиньский создал новую организацию—Патриотическое Общество—возникшее и развившееся среди значительно ухудшившихся условий общего положения, еще более скользких и опасных, чем те, при которых существовал его прототип—Национальное масонство. Против него подымалась во всей своей силе политическая реакция, охватившая Царство Польское, и многоголовая, многоокая тайная полиция, являвшаяся самой усердной и самой ловкой рабой этой реакции.

ГЛАВА III.

Патриотическое общество.

Все отдал родине своей
Еще в начале юных дней.
(«Узник», Ф. Волховской).

К ликвидации Националнаго масонства Лукасиньского толкнуло прежде всего возникновение в Познани на месте Национального масонства—Общества Косиньеров. Это громкое дело было затеяно по инициативе генералов Прондзиньского и Уминьского—оба весьма честолюбивые и преследовавшие, главным образом, свои личные цели и интересы в ущерб общественным целям. Лукасиньский не доверял ни тому ни другому.

Но когда Общество Косиньеров обратилось к нему из Познани с предложением образовать новое Патриотическое Общество, Лукасиньский решил согласиться на это, оставляя за собой возможность направить деятельность нового общества по тому руслу, которое он сам найдет наиболее целесообразным.

«Невозможно останавливать лодку, когда ее уносит поток воды. Я считал даже моей обязанностью вступить в Общество и ввести туда некоторые светлые личности, чтобы удержать жителей Великой Польши и тем самым снять со всех нас грозившую нам ответственность»,—писал Лукасиньский в Шлиссельбурге.

Первое организационное собрание состоялось 1 мая 1821 г. под председательством Уминьского, и речь шла о главных целях, преследуемых организацией нового общества, которое в конечном результате должно было прежде всего привести к идеалу восстановления Польши, соединив разделенные польские области. Что касается средств, которые должны были привести к этой цели, и самой формы их осуществления, то в этом отношении не было еще ни единства, ни ясности взглядов. Идейное разногласие было тем более резким, что наряду с вышеуказанным и более отдаленным делом восстановления прежним варшавским членам предстояло разрешить более насущный вопрос о конституции в виду назревшей необходимости положить конец дальнейшим нарушениям основных законов Царства Польского. После краткого, но резкого столкновения между Лукасиньским и Уминьским, ближайшее рассмотрение этих важнейших вопросов было отложено на некоторое время, и приступили к подробному решению организационных вопросов. При этом исходным пунктом прений явилось стре-

мление согласовать статуты Познанского Общества Косиньеров с установлениями бывшего варшавского Национального масонства. Лукасиньский пишет в своих шлиссельбургских записках, что «он стремился осуществить давно лелеянную им мысль изменить при помощи Патриотического общества весь строй управления Польшей и умиротворить всю страну, избрав из сената и депутатской палаты по меньшей мере 3 лиц, которые могли бы представить царю жалкое положение страны и просить об изменении системы управления и смены правящих лиц».

Всю Польшу, в границах бывшей Речи Посполитой, разделили, на одном из первых собраний, на семь областей: варшавскую, познанскую, литовскую, волынскую, краковскую, львовскую и военную. Военная область охватывала всю армию Царства Польского и, согласно сохранившимся указаниям, литовский корпус. Эта область составляла истинный центр тяжести всего союза, и руководителю ее предназначалась самая трудная и самая опасная роль. И занять этот пост пришлось, конечно, Лукасиньскому, единственному человеку из тринадцати совещавшихся, беззаветно и самоотверженно преданному делу. Он взял на себя управление военной областью, а тем самым и главную ответственность и главное бремя навязанного ему соперниками предприятия. Второе собрание состоялось на следующий день, 2 мая. При каких условиях приходилось в то время начинать работу и как трудно и рискованно было собрать несколько человек под бдительным оком тайной полиции, можно судить по характерной картине, описанной Лукасиньским.—«Мы собрались в квартире Прондзиньского, проживавшего в то время на Налевках во флигеле, выходившем в сад Красиньских. Кто-то из присутствовавших доложил, что осторожность требует, чтобы не собираться в частных домах и что лучше всего устраивать совещания в общественных местах, по крайней мере такие совещания, во время которых не нужно ничего записывать. Кициньский, поддерживая это заявление, советовал отправиться на Прагу, обещая указать одну гостиницу, при которой имеется небольшой садик. При этом он прибавил, что у этой самой гостиницы ожидает его бричка, на которой он поедет по окончании совещания домой, в Грохово. И мы отправились на Прагу, идя попарно далеко друг от друга. Мы вошли постепенно, врозь в указанную нам гостиницу и садик. Но это не скрылось от взора полицейских, и тотчас появилось двое из них для наблюдения за нами. Один из них вошел в садик, а второй остался во дворе и стал расспрашивать шинкарку. Опоздавший Шредер слышал этот разговор и дал нам знать, что за нами следят. Мы догадались уже сами, что нами выбрано неподходящее место для собраний, и

вскоре мы ушли оттуда и направились в Варшаву, в Hôtel de Wilna на Долгой улице, где и состоялось наше совещание в комнате Собаньского».

Вскоре после этого из деревни приехал в Варшаву Махницкий, «одобрил мое решение, присоединился к нам, наделял нас своими советами и наставлениями». К тому времени в Патриотическом Обществе возникли распри и недоразумения между членами комитета. В результате некоторые члены, как Прондзиньский и др., вышли из состава комитета, и вся ответственность и руководительство всецело легли на Лукасиньского. У него, как и у Махницкого, несомненно, не было и мысли о самовозвеличении, ибо эти самоотверженные люди готовы были во всякое время занять второстепенное место и поставить во главе дела людей, известных всему народу—как-то Князевича или Выбицкого. Выдающейся и характерной чертой взглядов Лукасиньского на организацию союзов является, наряду с критическим отношением к майской конституции, безусловное признание действовавшей конституции Царства Польского. Знаменитый защитник Лукасиньского перед военным судом, адвокат Доминик Кшивошевский, хорошо осведомленный о главных стремлениях своего несчастного клиента, обратил позже внимание Сеймового Суда на то именно обстоятельство, что Лукасиньский решительно избегал применения и призрака конституции 3 мая к делу Патриотического Общества, так как, по его мнению, не только современная конституция (Царства Польского), но даже дрезденская (Герцогства Варшавского) несравненно превосходят ее по следующим причинам: майская конституция не уничтожила крепостного права, а обе последние отменяли его. Вот почему применение конституции 3 мая вызвало бы сильный отпор со стороны самих крестьян; она не разрешала третьему сословию приобретать недвижимости без ограничения, а последние две допускали это, она не обеспечивала неограниченной свободы религий и т. д.—словом, это был лишь первый шаг, сделанный народом, только что проснувшимся от векового сна, и чтение ее в настоящее время не может произвести никакого впечатления в сравнении с современными узаконениями».

Взгляды Лукасиньского в этом вопросе обусловливались прежде всего его живой заботой о судьбе крестьянства, меньше всего обеспеченного в майской конституции. Он считал в этом отношении недостаточной даже и конституцию Царства Польского. Как сказано выше, Лукасиньский, уже при организации Патриотического Общества, очень интересовался крестьянским вопросом и никак не мог примириться с тем, что сеймовое законодательство совершенно умолчало о нем. Лукасиньский, имея в виду дальнейшее

восстановление Польши, считал необходимым укрепить и сорганизовать общественное мнение, вывести его из оцепенения, подготовить для того, чтобы оно могло стоять на страже законодательных гарантий, которым грозила опасность. Патриотическое Общество должно было сделаться одним из могущественных орудий для этого. «Я усматривал, что этот союз может дать еще иные выгоды, т.-е. дать общественному мнению желательное направление, самое полезное для страны... Мне казалось, что мы станем двигателями общественного мнения... У меня было еще намерение направить это мнение при помощи периодического издания. Махницкий знал об этом, а Шредер лишь догадывался—это был мой личный проект, о котором я не говорил никому, выжидая, пока Общество разрастется и в него войдут лучшие люди». Это воззрение вполне соответствовало тогдашним взглядам Чарторыского и Плятера и им, очевидно, руководствовались при выборе трех членов Центрального Комитета из Сената и палаты депутатов. Эти члены предназначались для непосредственного обращения, в случае надобности, к царю от имени всего края. Кроме того, повидимому, намеревались или, по крайней мере, заранее считались с возможностью подавать коллективные прошения и петиции.

В то самое время, когда Патриотическое Общество под руководством Лукасиньского делало первые неверные и опасные шаги, грозная враждебная сила под предводительством Новосильцова развивала свою лихорадочную и успешную работу. Новосильцов сосредоточил все свои старания, главным образом, на двух целях—на окончательном уничтожении Национального масонства и на раздувании и продолжении начатых расследований среди учащихся. Таким образом он добился, что 6 ноября 1821 г. был издан наместником приказ о закрытии всех тайных обществ, какова бы ни была их цель. Тайным же считалось всякое общество, не разрешенное правительством.

Что касается дела по обвинению учащихся в организации тайных союзов, то здесь существенную помощь оказала Новосильцову берлинская полиция, сообщившая ему через русского министра иностранных дел Нессельроде, что ею собран важный следственный материал, добытый обысками и арестами. На основании этого материала указывалось на существование тайных обществ среди учащейся молодежи берлинского и бреславльского университетов. Вслед за этим важным сообщением начались репрессии среди виленских и варшавских студентов. Следственная Комиссия работала в течение целого года, но следствие, благодаря генералу Гауке, закончилось довольно счастливо, и сам Новосильцов не слишком настаивал на строгом приговоре, так как в

это время он уже занялся гораздо более серьезным делом. Он подготовлял теперь гибель Национального масонства и военный суд над Лукасиньским.

Русское правительство, в лице Константина, несмотря на все доносы, смотрело сквозь пальцы на полулегальный польский союз Национального масонства, существовавшего под флагом «национальности» и масонства. Этот союз имел точки соприкосновения с первыми русскими тайными союзами, возникшими под покровительством царя, и в общем был слишком близок к недавней, постепенно изменявшейся польской политике Александра.

Совершенно иначе обстояло дело с Патриотическим Обществом, возникшим в 1821 г. Вся организация этого общества происходила в строжайшей тайне, чисто конспиративным путем, и малейшее отклонение с этого пути могло бы повлечь за собой весьма плачевные последствия для Патриотического Общества и главным образом для больше всех рисковавшего Лукасиньского.

Уже несколько месяцев спустя после основания общества, когда оно было еще в первоначальной стадии развития, конспиративная тайна, недостаточно оберегаемая, постепенно, различными путями измены и шпионства, стала проникать наружу и дошла до Новосильцова, Константина и Александра. Первый роковой шаг был сделан в Варшаве. Лукасиньский, озабоченный расширением деятельности общества в армии, поступил крайне неосторожно, согласившись на предложение председателя варшавского отдела Венгжецкого и посвятив в дела Общества Шнайдера.

Последний был допущен в Национальное масонство, но до того времени совершенно не знал о возникновении Патриотического Общества. В августе 1821 г. Лукасиньский поручил Шредеру представить Шнайдеру все дело, как возобновление бывшего общества Национального масонства, и уполномочить его организовать гмину из варшавских ремесленников. Для этого он поручил передать Шнайдеру четвертый статут о гминах, взятый из составленного Лукасиньским устава Патриотического Общества. Шредер говорил Лукасиньскому, что не хочет иметь никаких сношений со Шнайдером, но, спустя некоторое время, пришлось уступить настояниям Лукасиньского и передать Шнайдеру два экземпляра упомянутого статута. Шнайдер, очевидно, только этого и выжидал. Трудно сказать, добивался ли он вознаграждения или протекции в виду тяготевших на нем тяжелых обвинений и среди них обвинения в двоеженстве. Вероятно, он нуждался в том и в другом. Во всяком случае в августе того же года в руках Константина находился уже весь статут о гминах. При этом было оговорено значительное число военных и в особенности

Лукасиньский, против которого, главным образом, был направлен донос. Константин был неприятно поражен тем, что донос коснулся четвертого полка, особенно любимого и выделяемого им. И он немедленно дал волю своему гневу, усилив втрое наказание, определенное приговором военного суда по делу двух обвиненных в дезертирстве рядовых четвертого полка. Надо отдать справедливость, что Константин отнесся вначале весьма сдержанно к доносу Шнайдера, и так как среди упомянутых в доносе офицеров находился адъютант генерала Гауке Скробецкий, то приказал Гауке прежде всего потребовать от Скробецкого в строгой тайне точного письменного изложения подробностей об организации Общества. Скробецкий не был допущен в Патриотическое Общество и мог дать сведения лишь о польском масонстве, по возможности менее компрометирующие. Вместе с тем он в тот же день предостерег Махницкого, сообщив, что до Константина дошли сведения о Национальном масонстве. Лукасиньский, тотчас осведомленный об этом, сильно встревожился, и очевидно не тем, что обнаружилось существование Национального масонства, а опасностью, грозившею тайне Патриотического Общества. Легко было догадаться, что донос исходил исключительно от Шнайдера. Махницкий и Шредер тотчас—а это было спустя неделю после того, как Шнайдеру вручили статут о гминах—отправились к Шнайдеру и потребовали от него возвращения документа. Но Шнайдер не мог его возвратить, так как, как сказано выше, он передал его Константину и поэтому нагло отговаривался тем, что сжег его, опасаясь обыска. Подобный ответ и поведение Шнайдера не оставляло никакого сомнения в его измене, и Махницкий предвидел с этого момента неизбежную гибель общества и его основателей.

Вскоре после этого, в сентябре 1821 г., Константин потребовал от Лукасиньского безусловно тайного письменного изложения всего дела. Лукасиньский был уже подготовлен к этому и исполнил приказ быстро, изложив все в форме, не возбуждавшей никаких подозрений, писал исключительно о Национальном масонстве.

Он представил его как отдельную масонскую ложу на чисто идейной, отнюдь не активной, национальной основе. Но самым поразительным в этой декларации является особое подчеркивание Лукасиньским провокаторской попытки Ружнецкого.—«В первых числах июня 1819 г.,—писал Лукасиньский,—Венгжецкий сказал, «что наше масонство значительно больше заинтересовало бы нас, поляков, если бы в нем было что-нибудь национальное». Это нас—т.-е. Лукасиньского и Шредера—очень поразило, и в особен-

ности меня, организовавшего когда-то ложу в Замостье, и внушило мысль о реформе масонства».

Константин, прочитав представленную ему декларацию Лукасиньского, признал ее недостаточной и в сентябре того же года пригласил его в Бельведер для устных объяснений. Аудиенция носила строго конфиденциальный характер; не был допущен даже Курута и самые приближенные русские генералы. Присутствовал лишь один генерал Гауке. Нет никакой возможности установить подробно, что произошло между этими двумя собеседниками в присутствии безмолвного, как статуя, Гауке, и осталось неизвестным, о чем беседовали в кабинете Константина—всесильный цесаревич и майор—руководитель тайного польского общества. Несомненно одно, что Лукасиньский был приглашен для объяснений не в качестве обвиняемого, а вернее для дружеской беседы. Константин отнесся с явной благосклонностью и доверием, а Лукасиньский отвечал очень осторожно и обдуманно. В своих позднейших показаниях Лукасиньский упоминает о некоторых подробностях этой беседы. Но эти показания, предназначавшиеся для Новосильцова и следственной комиссии, не могут содержать всей правды, а лишь характеризуют особое настроение этой любопытной беседы.—«По привычке делать все с осмотрительностью,—говорит Лукасиньский,—и помня, что тайна принадлежит не мне одному»—он не рискнул подробнее показать Константину организацию нового Патриотического Общества, возникшего из известного ему польского масонства. «Я заметил, что великий князь раздражался, когда я задумывался, подбирая недоставшие мне выражения; видно было, что он приписывал это чему-то иному». Константин потребовал от Лукасиньского «честного слова в том, что он не будет больше принимать участия в чем-либо подобном». Это честное слово, хотя и вынужденное, в известной мере связывало его и заставило ограничить до минимума свое личное участие в работе общества. «На самом деле,—говорит он в позднейшем показании,—я не только прекратил свою деятельность, но и стал вести дневник, где записывал все, что делал каждый час и где я бывал, чтобы, в случае подозрения, можно было оправдать себя». Весь этот образ действий служил источником тяжелых моральных страданий для человека с такой чистой душой, как у Лукасиньского.—«Не добившись, что Патриотическое Общество имело политические цели,—пишет в своих шлиссельбургских записках Лукасиньский,—по поводу упомянутой беседы в Бельведере, Константин закончил беседу заявлением, что он не доведет этого до сведения царя, который никогда не простил бы главным образом потому, что это произошло в армии. Но он поставил условием, чтобы общество было ликвидировано, при-

бавив при этом, что будет следить... Я знал хорошо Константина и понимал причины подобных поблажек. Я был уверен, что в свое время буду строго наказан. Но, не находя никакого способа избежать своей судьбы, смиренно ждал ее решения».

Вскоре, в конце 1821 г., совершенно постороннее событие привело к резкому столкновению Лукасиньского с Константином. После сенсационного дела Мигурского и двух его товарищей, сделавших неудачную попытку бежать из крепости Замостья, и после того, как они получили по несколько сот палочных ударов, Константин приказал предать военному суду трех офицеров замойской комендатуры—Голачевского, Каргера и Козловского. Их обвинили в недосмотре за заключенными, значительно облегчившем их бегство. Лукасиньский к своему несчастью был назначен в состав суда, который должен был вынести приговор этим офицерам. Это имело для него роковые последствия. Первоначально суд вынес довольно мягкий приговор. Но Константин потребовал более строгого наказания в виде десятилетнего заключения в кандалах. Он понимал военный суд по своему и смотрел на него не как на самостоятельный и независимый орган правосудия, а как на слепое орудие в руках главнокомандующего. В данном случае он просто приказал председателю суда над упомянутыми тремя офицерами генералу Жимирскому вынести новый приговор, исключительно строгий и заранее им указанный. Все судьи уступили этому требованию; воспротивился лишь Лукасиньский, а вслед за ним и Жимирский. Лукасиньский рассказывает об этом деле, способствовавшем его гибели, в своих шлиссельбургских записках следующее:

«Вскоре после беседы (в Бельведере) был назначен военный суд из шести членов под председательством генерала Жимирского для суда над плац-майором Замостья с двумя его адъютантами. Решение суда было принято единогласно и подписано, и приговор был вынесен на основании законов. Константин, потребовав к себе Жимирского, изъявил ему свое недовольство приговором и потребовал, чтобы кара была заменена указываемым Константином наказанием, и закончил беседу словами: «выбирайте—придерживаться ли закона или воли великого князя». Пять членов суда подчинились приказу, Лукасиньский остался при прежнем решении, а генерал Жимирский позже присоединился к нему. Константин, когда ему был представлен приговор, и он убедился, что уже раньше провинившийся Лукасиньский, вместо того, чтобы загладить свою вину, осмелился ослушаться—воспылал гневом. Сначала он с бешенством накинулся на Жимирского, выдержавшего бурю хладнокровно. Не столь хладнокровно отнесся к такой же буре полковник Богуславский, командир четвертого полка... На него

выговоры и нападки посыпались, как град: «Ты отзывался хорошо о Лукасиньском, а теперь видишь, какой он человек... Он не только организует тайно бунты, но даже открыто оказывает мне непослушание». Несчастный полковник, храбрый на поле брани, но робкий в присутствии Константина, собрал все свои силы, чтобы выйти из кабинета, и затем лишился чувств и был отнесен офицерами в коляску.

Желание Константина было удовлетворено, и в первой половине декабря 1821 г. был вынесен суровый приговор, осуждавший Голачевского и Каргера на десятилетнее заключение в кандалах. Поставив на своем, Константин значительно смягчил наказание, сократив его для Голачевского до одного года заключения в Модлине, а Каргера—на пять лет каторжных работ без кандалов в Замостье.

Непоколебимая позиция, занятая Лукасиньским в этом деле, очень повредила ему в мнении цесаревича и повела к роковым последствиям. Первое чувствительное наказание обрушилось на него немедленно: приказом от 8 декабря 1821 г. он был переведен «на исправление», т.-е. исключен из действующей армии и назначен в распоряжение главнокомандующего. Подобные назначения практиковались в наполеоновские времена в виде обеспечения отслуживших срок и неспособных более для военной службы. Во время реставрации этот способ применялся как средство для удаления из французской армии неподходящих по своему образу мыслей офицеров. Этому примеру последовал Константин, вопреки ясно выраженному закону, сначала при организации армии Царства Польского в виде массовых исключений для чистки армии, а позже в качестве известного рода наказания. Для Лукасиньского, в его опасном положении, это наказание было более чувствительным, чем удаление из армии. Оно отдавало его во власть Константина, под страхом военной дисциплины и под угрозой военного кодекса. Удаленный из своего полка и из Варшавы, он был прикомандирован к штабу уланской дивизии, сначала в Красный Став, а затем в Лэнчну и Седлец. На первый взгляд свободный, он в сущности состоял под специальным надзором командира дивизии, Адама Виртембергского, который, несмотря на свой громкий титул, не гнушался поддерживать постоянные сношения с тайной полицией. Ему пришлось прожить полгода в таком мучительном состоянии и пассивном выжидании угрожавшей ему гибели. И его угнетало больше, чем беспокойство о собственной судьбе, больше чем предчувствие близкого несчастия, тяжелое чувство ненадежности его нового предприятия. «Оторванный от всех знакомых, от столичного шума, предоставленный

почти исключительно себе в Красном Ставе, Лэнчне и Седлеце, я имел достаточно времени для того, чтобы подумать о делах и людях. С болью сердца я убедился, что ошибался, считая поляков способными для подобных союзов. Я понимал, что многолетние страдания, знакомство с другими народами и несколько более высокая культура придавала моим соотечественникам известный характер и национальный дух, который, казалось, проявился во время последних испытаний. Но это было лишь минутным явлением, следы которого невозможно найти в настоящее время. Проследив мысленно целый ряд людей, их характеры, их нелепые поступки, упорство и самоуверенность и, наконец, убедившись, что почти все они вступили в общество без всякого призвания, не задумываясь о личной опасности,—я решил, что подобный союз, даже при самых благоприятных обстоятельствах, не принесет никакой пользы родине. Наоборот, он может ежеминутно лишь принести ей вред. Будучи так настроен, я морально уже не принадлежал к союзу, но все-таки стоял на его страже, ибо этого требовал мой характер». В этих словах сквозит страшная безнадежность, которую нужно уважать, но не принимать буквально; нужно отбросить ретроспективное отчаяние заживо погребенной жертвы.

Тотчас после исключения Лукасиньского из полка и высылки его из Варшавы, в декабре 1821 г., началось первое тайное следствие против него. Характерно, что до этого времени Константин действительно оставлял его в покое, удовлетворившись вполне представленными в Бельведере объяснениями. Таким образом, несмотря на явный, столь губительный для Лукасиньского донос Шнайдера, за истекшие с того момента четыре месяца нет никакого следа каких-либо следственных розысков против Лукасиньского. Лишь в декабре, быть может, движимый чувством мести за обнаруженное Лукасиньским упорство в деле Голачевского или же своими своеобразными понятиями о чести и субординации, Константин решил начать против него самое строгое следствие с целью окончательно проверить тяготевший на Лукасиньском донос.

Сначала Константин обратил внимание на Махницкого, о котором много говорил в своем доносе Шнайдер и совершенно умалчивал в своей декларации Лукасиньский. Над Махницким был установлен тайный надзор еще в конце сентября, но он не дал никаких результатов и был прекращен в декабре. С тех пор все подозрения Константина сосредоточились на Лукасиньском. Он собирался сам ехать в Петербург для доклада об этом важном доносе и поэтому хотел выяснить все подробности. И он

предпринял самое спешное и безапелляционное следствие над Лукасиньским, поручив его своей верной контр-полиции—Макроту и Шлею—в полной тайне от высшей тайной полиции и центрального полицейского бюро и даже от Новосильцова. Он приказал незаметно следить за делами и сношениями Лукасиньского в Красноставе и одновременно сделать тайно обыск в его запертой после его отъезда квартире в Варшаве. В особенности рекомендовалось ознакомиться с его бумагами, запертыми в сундуке, поставленном на чердаке. Одновременно Константин приказал организовать тайный надзор за Шнайдером, в котором он подозревал агента-провокатора, подосланного к нему Ружнецким или Новосильцовым. Макрот тотчас приступил к делу, которое было очень щекотливым, так как необходимо было действовать так, чтобы не вызвать преждевременной тревоги в среде членов союза. Один из самых ловких агентов тайной полиции, переодетый военным писарем, нанял в конце декабря квартиру в доме, где проживал Лукасиньский. Победив различные технические затруднения, с соблюдением возможной осторожности, он привел в конце декабря 1822 г. после полуночи Макрота и Шлея на чердак. На улице ожидала приготовленная повозка, на которой намеревались отвести найденные бумаги в Бельведер. «При помощи гвоздя» легко были вскрыты все замки, и после тщательного обыска, кроме старых судебных дел, ничего подозрительного не найдено. Несмотря на это, начатые розыски усердно продолжались.

В начале февраля агенту удалось познакомиться с некоей девицей Паздзерской—возлюбленной бывшего лакея Лукасиньского. Она проживала с двумя модистками в том же доме «на полном пансионе» у какой-то подозрительной вдовы. Агент тайной полиции устроил для этих девиц торжественный пир, на который пригласил еще двух своих товарищей, людей солидных и «влиятельных», т.-е. Шлея и Макрота.

Двое занялись модистками, а Макрот победил сердце Паздзерской и узнал от нее различные интимные подробности о Лукасиньском. Ему удалось даже уговорить ее переменить квартиру, где он мог бы свободнее посещать ее. Вскоре он тайно от нее обыскал ее запертый сундук, а также оставленный у нее сундук лакея. Но нашел в них лишь любовные письма лакея и книги Лукасиньского. Вся эта одиссея была представлена Константину, обошлась, согласно приложенному Макротом счету, в 1.216 польских злотых и не дала никаких результатов. Неутомимый Макрот однако не успокоился. «Так как все розыски,—писал он,—оказались безрезультатными, то необходимо проследить за майором Махницким и другими, на которых указывают как на самых

усердных членов секты Косиньеров. Необходимо заслужить доверие прислуги этих членов для того, чтобы с их помощью сделать обыск в квартирах этих господ, зорко следить за домами, где они бывают, и войти в сношения с их друзьями, проследить—не выносят ли они какие-нибудь бумаги, не устраиваются ли собрания, добиться дружеских отношений с девушкой, живущей на содержании лакея Лукасиньского, обыскать квартиру Фишера, дружившего с Лукасиньским. Назначенная затем следственная комиссия после двухмесячной бесплодной работы не обладала никакими серьезными данными по делу Лукасиньского. Наконец, 22 октября 1822 года неожиданно был арестован Лукасиньский.

ГЛАВА IV.

Суд и первые годы заточения.

Умер не тот, кто сражен, как герой,
Умерли те, что сразили...
(«Реквием», А. Федоров).

Среди хранившихся старых бумаг калишского казначейства нашли и доставили Константину экземпляр ритуала ложи второй степени Национального масонства, целиком написанный собственноручно Лукасиньским и в свое время переданный Добжицкому. Упоминание в этом несомненно подлинном документе о «двух реках и двух морях», как границах Польши, и отсутствие упоминания об Александре окончательно погубило Лукасиньского в глазах Константина. Лукасиньский проживал тогда в Седлеце на полной свободе с того момента, как он подписал потребованную у него в мае декларацию с отречением от всяких тайных обществ. Теперь он был вытребован в Варшаву и здесь тотчас по прибытии неожиданно арестован. Одновременно в Варшаве были арестованы Махницкий и Шредер и все трое заключены в новой политической тюрьме—в бывшем кармелитском монастыре на Лешне, куда были перевезены прежние узники из доминиканского монастыря и где теперь происходили совещания следственной комиссии. Перед Лукасиньским открылся тяжелый путь полувекового заключения. Войдя в угрюмое здание кармелитов, он простился навсегда со свободой и, переходя из тюрьмы в тюрьму, наконец, нашел свою могилу в Шлиссельбурге. Тюрьма, в которую Лукасиньский был заключен с самого начала, была только-что перестроена, стены были еще покрыты сыростью, и многие

узники тяжело захворали. Камеры были исключительно одиночные, и заключенные держались в строгом одиночестве, их называли не по именам, а по номерам камер. Лукасиньский помещался во втором этаже в камере под № 13. Его охраняли очень строго. Под его камерой помещался Циховский, и Лукасиньский беседовал с ним при помощи перестукивания и получал иногда некоторые сведения о ходе следствия. Махницкий занимал № 15 также во втором этаже. Это была самая обширная камера в два окна, в которую его поместили из опасения за его здоровье и жизнь. Махницкий раз-навсегда отказался пользоваться какими бы то ни было льготами, даже допускаемыми строгими тюремными правилами. Он отказался даже от разрешавшихся время от времени прогулок по коридору под конвоем и никогда не выходил из своей камеры.

С арестом Лукасиньского, Махницкого и Шредера, в октябре 1822 г. дела следственной комиссии значительно поправились и вступили в новую, более плодотворную стадию. Комиссия получила новое название «Следственной комиссии для расследования Национального масонства». Но работы предстояло еще много.

Лукасиньский давал показания с большою осторожностью, ограничиваясь лишь подтверждением своих устных и письменных объяснений, данных еще в сентябре Константину. Такой же тактики придерживался первоначально и Шредер, а Махницкий— хранил упорное молчание.

Лукасиньский избрал с момента своего ареста самую удачную и единственно возможную для него тактику. Он не мог хранить полное молчание в виду несомненного факта своей роли руководителя и письменного показания, которое вынужден был дать Константину. Он не скрывал существования Национального масонства, а приводил подробности, указывал на его легальность и ссылался на ликвидацию его до запрещения тайных обществ. Но он не сказал ни единого слова о Патриотическом Обществе. Когда в конце ноября ему показали в комиссии упомянутые два документа, он сразу признал представленный ему написанный им национально-масонский ритуал, но категорически опровергал, что знает что-либо о втором наиболее компрометирующем документе— статуте о гминах. Он старался как-нибудь связать в своих показаниях вновь открытую деятельность Патриотического Общества, в особенности распространение военных гмин, с предшествующею деятельностью Национального масонства для того, чтобы создать из этих двух категорий одно нераздельное целое, менее доступное для политических и судебных преследований. Что касается Национального масонства, то он брал всю ответственность исключи-

тельно на себя, как на организатора и начальника, тщательно выгораживая других обвиняемых. Следственная комиссия отнеслась особенно благосклонно к Шредеру, и некоторый свет на эту благосклонность бросает Лукасиньский в своих шлиссельбургских записках.

«Если нужно было искать виновных, то можно было найти их в Лукасиньском и Шредере. Но этому помешала молодая жена Шредера, которая при помощи Новосильцова добилась, что ее мужа заменили Добжицким. Таким образом в своем окончательном заключении следственная комиссия обвиняла, главным образом, четырех оставшихся подсудимых—Лукасиньского, Махницкого, Добжицкого и Кошутского, не находя никаких смягчающих их вину обстоятельств, особенно для Лукасиньского, признанного «главным деятелем и начальником». В течение четырех месяцев оставался открытым вопрос, как поступить с ними дальше, подвергнуть ли их наказанию административным порядком или же предать суду—уголовному или военному. И лишь осенью 1823 г. решено было предать всех обвиняемых военному суду.

Лукасиньскому, допрошенному первым, было просто прочитано его предыдущее показание, декларация и очные ставки перед следственной комиссией, причем допрос сводился лишь к подтверждению им подлинности этих актов. Через пять дней точно так же поступили и с остальными обвиняемыми, и были устроены очные ставки между Шнайдером и Лукасиньским, Шредером и Махницким, Лукасиньским и Доброгойским и Кошутским. В качестве свидетелей, кроме целого ряда старых «замешанных» в это дело, были привлечены еще двое новых — подполковники Пронзиньский и Козаковский. Это было результатом некоторых подробностей, приведенных под конец Лукасиньским в его показаниях. В январе 1823 г. Лукасиньский, уже по окончании своего первоначального допроса, сам обратился к следственной комиссии с заявлением, что весною 1821 г. он слышал от Козаковского, будто бы подполковник Голуховский сообщил ему, что «принят в какое-то тайное общество в квартире подполковника Пронзиньского, где его приняли в масках три члена». Это показание неожиданно скомпрометировало до сих пор незамешанного в дело Пронзиньского, который в своих записках очень жалуется поэтому на Лукасиньского. Сам Лукасиньский в своих позднейших тюремных записках выясняет причины, побудившие его сделать это сенсационное показание. Он хотел таким образом предостеречь членов общества, не попавших в подозрение, и главным образом неосторожных познанских членов, и заставить их соблюдать осторожность. Он постарался связать дело Национального

масонства с Патриотическим Обществом и со старым, следовательно, неопасным делом «истинных поляков». Он надеялся еще заинтересовать таким путем Константина и добиться личного свидания с ним. Наконец, он взваливал вину главным образом на Голуховского, уже умершего в то время. В конце апреля 1824 г. комиссия закончила свою работу, допросив в последний раз обвиняемых. Им еще раз представили все дело и предложили выбрать себе защитников. Лукасиньский избрал для себя первоначально Козловского, который, как замешанный в дело «истинных поляков», не мог выступить на суде и был заменен адвокатом Токарским. Добжицкий избрал себе в защитники Тарчевского, Шредер — Кеджиньского, Кошутский — Огродовича. Доброгойский заявил о готовности принять защитника, назначенного ему официально судом. Махницкий в своем последнем показании не преминул сурово осудить неблаговидные поступки следственной комиссии, а затем заявил, что не желает никакого защитника. По представлению Гауке, как председателя военного суда, министр юстиции Бадени назначил защитниками троих, избранных подсудимыми, Токарского, Кеджиньского и Огродовича, а вместо отказавшегося Тарчевского, как состоявшего на государственной службе, был назначен Маевский. Доброгойскому же и Махницкому были назначены официальные защитники—Кшивошевский и Торосевич.

Заседания военного суда начались в начале июня 1824 г. в так называемом ордонанцгаузе г. Варшавы на Саксонской площади, в нижнем этаже умышленно выбранного очень тесного помещения, для того, чтобы по возможности ограничить гласность суда. Наплыв публики был очень велик, но в зал заседаний попали лишь немногие, вследствие небольшого числа мест, предназначенных для публики и отделенных решеткой. Поставленные по приказу Константина у дверей адъютанты пропускали лишь известных им лиц, получивших билеты для входа в зал заседаний. Обвиняемых ввели в зал без кандалов, в сопровождении своих защитников, и поместили в ряд, за решеткой, лицом к суду и спиной к публике. Защитникам было строго воспрещено касаться самой слабой стороны дела, т.-е. вопроса о компетенции военного суда, так как подведомственность этого дела военному суду вызывала сомнение— в виду того, что подсудимые являлись людьми статскими и преступлению придали чисто политический характер. Общее внимание привлекал, конечно, Лукасиньский. Он держал себя на суде с достоинством и полным спокойствием. Точно так же вели себя Добжицкий и Кошутский, не обнаруживая ни малейшего малодушия. Махницкий выделялся на суде, как и во время допроса, своим гордым, почти презрительным отношением к след-

*

ственной комиссии. Когда ему, между прочим, указали на найденное у Лукасиньского его письмо, содержащее перечисление нарушений конституций, он иронически потребовал от суда, чтобы это обвинение было прочитано при открытых дверях перед собравшейся публикой. Неприятное впечатление производил Шредер, повидимому, рассчитывавший на милость суда. Жалость и симпатию возбуждал старик Доброгойский, доставленный в суд из Уяздовского госпиталя—больной и разбитый.

После девяти заседаний военного суда трое из шести обвиняемых были освобождены. Остальные трое—Лукасиньский, Доброгойский и Добжицкий—были признаны виновными в доказанном государственном преступлении и осуждены: первый — на девять лет каторжных работ, а два последних—на шесть лет каторжных работ.

Упомянутый приговор был оглашен публично в судебной палате 18 июня 1824 г. и в тот же день объявлен официально трем узникам кармелитского монастыря, причем им объявили, что апелляция не допускается и приговор будет представлен на благоусмотрение царя.

В актах не имеется никакого указания на непосредственную просьбу Лукасиньского и его товарищей о смягчении их участи. Константин не хотел, очевидно, значительного уменьшения наказания и ходатайствовал перед Александром лишь формально, во исполнение данного суду обещания. Царь сократил срок каторжных работ для Лукасиньского до 7 лет, а для остальных двоих — до 4 лет. «Всякий признает, что подобная милость,—пишет с горечью Лукасиньский,—является издевательством над несчастными и что было бы лучше и приличнее просто утвердить приговор».

Монаршая конфирмация приговора была доставлена в Варшаву в отсутствие Константина, находившегося за границей. Наместник Зайончек, для которого, как и для всех, суровость монарха в этой мнимой милости явилась полной неожиданностью, не хотел очевидно взять на себя приведение в исполнение наложенной кары. И поэтому он, через Куруту, выразил Константину желание отложить исполнение приговора до возвращения его из-за границы. Константин, для которого такая отсрочка вовсе не была на руку, строгим приказом из Франкфурта на Майне потребовал от Зайончека немедленно, «не откладывая ни на минуту, выполнить «высочайшую волю» во второй половине сентября в присутствии всего варшавского гарнизона и затем отвезти всех трех осужденных в крепость Замостье. К выполнению приговора было приступлено 1 октября, причем первым делом были освобождены трое оправданных, отданных лишь под надзор полиции. Одновременно

с этим приступили к исполнению приговора над тремя осужденными—Лукасиньским, Доброгойским и Добжицким.

Монаршая конфирмация приговора была им прочитана накануне в тюрьме плац-майором Аксамитовским, но ожидающий их публичный позор держали от них в тайне до последней минуты из опасения перед каким-нибудь актом отчаяния или самоубийства. На следующий день с утра (2 октября 1824 г.) на них надели офицерские мундиры, украшенные всеми знаками отличия, и в открытой военной повозке под сильным эскортом конных жандармов отвезли в лагерь за Повонзсковскую рогатку. Здесь были выстроены в виде карре откомандированные для этой печальной церемонии, согласно приказу Константина, отряды польских и русских войск от варшавского гарнизона: четвертый, пятый, седьмой и первый пехотный линейный полки в полном составе, батальон саперов, четвертый полк уланов, отряды гвардии, пехоты и кавалерии. Кругом толпилась черная, молчаливая толпа собравшихся людей. Узников ввели на середину четыреугольника, поставили в ряд на расстоянии друг от друга и около каждого поместили по два жандарма с обнаженными саблями. Войска взяли на караул, аудитор громким голосом прочитал приговор, конфирмованный царем. Ударили в барабан. Главный столичный палач, высокий широкоплечий мужчина, весь в черном, приблизился к осужденным и, начиная с Лукасиньского, сорвал с них погоны и знаки отличия и сломал над их головами сабли. Затем, при помощи палача, с них сорвали мундиры, одели в серые тюремные халаты и обрили головы. После этого их усадили на землю, и кузнецы тотчас заковали на сапогах приготовленные кандалы в 22 фунта весом, дали им тачки и при оглушительном барабанном бое приказали пройти перед фронтом войск. Никто не промолвил ни слова, толпа наблюдала с затаенным дыханием, войска стояли неподвижно. Но по лицу многих офицеров и солдат,—как уверяет Добжицкий,—и у русских текли слезы. Первым шел Лукасиньский. Ноги его путались в кандалах, впивавшихся в высокие, грубые ботфорты. Он был очень бледен, но сильно толкал тачку вперед, вперив взор по направлению к фронтовой линии, глядя прямо в глаза командирам и солдатам. Тотчас по окончании этой ужасной церемонии, его забрали, посадили вместе с двумя товарищами в повозку и, под эскортом жандармов, отвезли в Замостье для отбывания наказания. Здесь на следующий день их заковали в новые кандалы прямо на тело. Это было облегчением, ибо от кандалов, закованных на сапогах, сделались сплошные раны. До сих пор, хотя и в следственной тюрьме,—он был офицером, гражданином, человеком. Теперь он не был больше человеком.

После нескольких дней мучительного путешествия, Лукасиньский был доставлен из Варшавы в Замостье (6 октября 1824 г.) и здесь был разлучен со своими двумя товарищами и помещен в отдельный так-называемый львовский каземат, в первый дисциплинарный батальон. Комендант крепости, полковник Гуртиг, обращался с ним, как и с другими заключенными, с солдатскою грубостью. На каждого заключенного полагалось по 10 грошей в день на содержание. Причем командир дисциплинарного батальона, майор Размысловский, мучивший и обиравший узников, брал из этого в свою пользу 2 гроша на стирку, бритье и ваксу.

Заключенные получали полтора фунта хлеба, ячменную кашу, $^1/_3$ фунта очень плохого мяса, вечером—гороховую кашу. Казематы полуподвальные, со сводами, совершенно не отапливались зимой. Узники спали на скамейках или под ними, без всякой подстилки, с изголовием из гладких досок вместо подушки. Узники употреблялись для тяжелых крепостных работ—сооружения земляных укреплений, переноски земли и мусора, каменотесных работ и гашения извести. Работы производились ежедневно, не исключая воскресений, кроме только шести дней в году—Рождества, Нового года, Пасхи и Троицы. Во многих случаях узники подвергались телесным наказаниям. Для этого употреблялись палки известной формы, в полтора дюйма толщины, на ремне. Часто случалось, что наказуемый умирал под ударами. В конце апреля 1825 года скончался Доброгойский. Лишь накануне смерти с него были сняты кандалы, благодаря хлопотам гарнизонного доктора Любельского. Перед самой смертью Доброгойский послал через своих товарищей по заключению прощальный привет Лукасиньскому и просил у него прощения за то, что он по своему неблагоразумию способствовал, во время допроса следственной комиссией, общей гибели. С тех пор Лукасиньского перевели на место Доброгойского в люблинский каземат. Здесь его поместили не в большой тюремной камере, а в маленькой соседней комнатке вместе с десятью заключенными. Среди них, рядом с Лукасиньским, помещался молодой Тадеуш Суминьский, сын плоцкого обывателя и солдат 1 пехотного полка, осужденный два года тому назад за нарушение субординации и дезертирство на 12 лет крепости,—срок, сокращенный Константином до 5 лет. Это была смелая, горячая и порывистая натура. Длинными вечерами, когда, по окончании работ, осужденные запирались в темноте, Лукасиньский рассказывал этим простым людям, товарищам по несчастию, неизвестные им прекрасные, знаменитые истории из Плутарха, говорил о Спарте и Фивах, о Пелопиде и Эпаминонде, о низвержении фивянами спартанского ига, о греческих героях и борцах за свободу, о

низверженных тиранах и восстановленной народной свободе, говорил о Польше.

Летом 1825 года среди заключенных в люблинском каземате, с ведома Лукасиньского и под деятельным руководством Суминьского, возник заговор, имевший целью вырваться на свободу, завладеть крепостью и пробраться в Галицию. Существует версия, по которой намерения Лукасиньского были гораздо шире и он продолжал будто бы и после заключения свою деятельность в Патриотическом Обществе, уцелевшем благодаря его сдержанности в своих показаниях. Все это шло будто бы параллельно с третьим Варшавским сеймом, который должен был «отвлечь бдительность властей от тайно готовящегося восстания», сигналом для которого должна была послужить попытка Лукасиньского в Замостье. Но вся эта романтическая история ни на чем не основана и лишена не только достоверности, но и правдоподобия, ибо не могло быть и речи о каком-либо общении Лукасиньского с внешним миром, а тем более с руководителями Патриотического Общества. С другой стороны, существует совершенно противоположная версия этого таинственного дела, хотя тоже недоказанная, но, быть может, заключающая в себе долю правды.

«Ни Константин, ни Новосильцов, каждый из них по разным причинам, не забывали о Лукасиньском, не переставали следить за ним, в убеждении, что они могут узнать от него очень много. Они составили план, как добиться у него полной исповеди—план дьявольский, который оказался вполне удачным.

«Все пружины, пущенные в ход для этой темной махинации—неизвестны. Но я убедился во время предпринятых мною в Замостье (в 1831 г.) поисков, как и среди бумаг, оставшихся там после коменданта Гуртига, что для Лукасиньского была устроена ловушка и между узниками было заключено условие с ведома Константина сделать попытку будто бы овладеть крепостью и начать восстание. Повидимому, Лукасиньский не хотел принимать участия в заговоре—потому ли, что не доверял ему, или же потому, что не надеялся на возможность его осуществления. Но Суминьский вступил в него со всем пылом своей молодости». Так пишет весьма важный свидетель. И в сущности весьма правдоподобно, что среди узников, окружавших Лукасиньского, было достаточно подставных провокаторов и шпионов, которые действовали под режиссерством Константина. Но пока все это остается в области догадок, а фактически дело происходило следующим образом:

28 августа 1825 г. в час пополудни отряд из 200 узников, среди которых находились Лукасиньский и Суминь-

ский, был выведен для работ за линию фортов за люблинскими воротами, под эскортом спешившихся уланов и ветеранов. При этом (случай редкий и исключительный) при отряде не было ни одного офицера. Вдруг из шеренги выскочил Суминьский, бросился на одного из уланов,—Кадлубка,—ударом кулака повалил его на-земь, вырвал у него саблю и крикнул: «Товарищи! час освобождения настал! Да здравствует наш начальник майор Лукасиньский!» Он хотел увлечь за собой товарищей, но никто, ни один человек не двинулся с места, несмотря на то, что по крайней мере более десяти человек были посвящены в заговор. «Видя это, разжигаемый их оцепенением, Суминьский бросился на остолбеневших узников с саблей в руке и, размахивая ею, стал гнать их вперед, как стадо. И узники, ветераны и стража с обнаженными саблями (весьма странное явление)—все бросились вперед, направляясь за линию фортов крепости».

Только тогда солдат 4-го егерского полка, Поньско, преградил путь Суминьскому и ударом сабли обезоружил его. В это время подбежало семь арестантов, очевидно «участники заговора», и один из них, Ян Якубовский, отбывавший наказание, солдат 2-го полка конных стрелков, ударом лома повалил Суминьского на землю, а подпрапорщик Буссов и унтер-офицер Былиньский—4-го уланского полка—окончательно обезоружили его. Началось самое строгое следствие, и Суминьский, после немилосердных пыток, показал, наконец, что его поощрял на это Лукасиньский, намеревавшийся выгнать гарнизон, захватить крепость, потребовать у царя освобождения, а в противном случае, подложив мину, взорвать крепость вместе с собою. Лукасиньский, немедленно допрошенный Гуртигом, признал лишь, что действительно поощрял к этому шагу Суминьского с целью совместного бегства. Гуртиг представил Константину рапорт об этом событии лишь через два дня, подчеркнув, что у Лукасиньского и Суминьского не было никаких сообщников. Военный полковой суд в Замостье спешно закончил следствие и приговорил обоих обвиняемых к смертной казни через расстреляние (10 сентября 1825 г.). Выслушав приговор, оба заявили, на предложенный им вопрос, что они отказываются от всякого ходатайства о помиловании, предпочитая быть казненными.

«Слабый, еле держась на ногах,—так описывает в немногих словах Лукасиньский это событие в своих шлиссельбургских записках,—собрав последние силы, я хотел вырваться на свободу и вызвать бунт, но план не удался: меня предали военному суду и приговорили к расстрелу».

Рапорт Гуртига, полученный в Варшаве в начале сентября, был тотчас отослан Курутой Константину в Эмс. Вместе с тем Курута отправил в Замостье дежурного генерала Раутенштрауха для дополнительного следствия на месте. Константин, получив рапорт, немедленно прислал Куруте следующий приказ: «Лукасиньский и Суминьский должны быть подвергнуты, в присутствии всех заключенных и бригадного генерала Малетского, телесному наказанию в гораздо более строгой мере, чем это практиковалось над другими узниками, бежавшими когда-либо из Замостья. Настоящий приказ должен быть немедленно сообщен Гуртигу, и сечение произвести тотчас. Оба преступника будут содержаться с этого времени в безусловном одиночестве, срок наказания удваивается, т.-е. продолжен до 14 лет для Лукасиньского и до 10 лет для Суминьского. Но и по истечении срока ни Лукасиньский, ни Суминьский не могут быть освобождены иначе, как по моему приказу. Кроме того, необходимо экстренно и самым энергичным образом нарядить новое следствие для того, чтобы найти сообщников Лукасиньского и Суминьского, ибо трудно допустить, чтобы таковых не было. Семь поименованных арестантов и среди них Лабузинский, которого вовсе не допрашивали, должны быть подвергнуты новому допросу, причем следует принять строгие меры, если в таковых встретится надобность».

Однако, приведение в исполнение этих приказов было задержано Курутой, потому что он переслал в Эмс только-что вынесенный приговор полкового суда и ожидал конфирмации Константина. Константин же, получив одновременно рапорт Раутенштрауха из Замостья, вторым приказом Куруте (23 сентября) совершенно кассировал упомянутый приговор на том основании, что Лукасиньский и Суминьский, как отбывающие еще наказание по прежним приговорам, не могут подлежать новому военному суду. При этом он подтвердил свои оба прежних приказа подвергнуть их позорному телесному наказанию в назидание другим узникам, и после этого содержать их в одиночном заключении, закованными в ручные и ножные кандалы.

Но совершенно неожиданно, независимо от упомянутых двух приказов, в тот же день был экстренно выслан в Замостье чиновник особых поручений при генерале Раутенштраухе, капитан Гюбнер, с третьим приказом Куруты Гуртигу. Из сделанных раньше распоряжений теперь были отменены «те, которые касаются Лукасиньского. Он должен быть подвергнут допросу по делу распространения тайного общества, к которому он принадлежал, Гюбнером, согласно данным ему устным инструкциям».

Произошло очень важное событие: Лукасиньский решил открыть существование Патриотического Общества. Какие причины склонили его к этому решению, на которое не могло до сих пор вынудить его ни самое искусное следствие, ни трехлетняя тюремная пытка? Эти побуждения были вероятно столь же чисты, как и его безупречная душа. Им руководил не страх, который был ему чужд. Он уже давно принес себя в жертву. Раз он требовал для себя расстрела, то не мог испытывать страха перед удвоенным сроком тюремного заключения; перенося со стоицизмом физические страдания самой тяжелой неволи и каторжных работ, он не мог устрашиться физической боли телесного наказания. Нельзя также допустить, чтобы он испытывал страх перед самым позором. Ибо после того, как год тому назад он пережил этот позор в присутствии своих товарищей по оружию во время страшной экзекуции на Повонзковском поле, теперь не могла внушить страха унизительная кара в присутствии каторжников.

Главным двигателем было здесь не чувство самосохранения, лишь то, что Лукасиньский в конце концов усомнился, после мучительных размышлений в тюремном одиночестве, в людях и в самом своем тайном предприятии.

Он чувствовал, что его предприятие, уцелевшее там в Варшаве, благодаря его молчанию, уже находится в подозрении, выслеживается властями, что оно попало в руки людей, которым он не доверял. Такие мысли привели Лукасиньского к решению ликвидировать все одним взмахом, открыв все властям. Но необходимо было еще подумать о том, чтобы его признание не повлекло за собой гибель многих, до сих пор не пострадавших товарищей. Устранению этого сомнения главным образом способствовал Раутенштраух, приехавший на следствие в Замостье в сентябре, беседовавший с Лукасиньским и предчувствовавший, что Лукасиньский склонен раскрыть тайну. И он мог сообщить Лукасиньскому точные сведения об амнистии Александра в январе 1824 г. и обещал ему безопасность людей, скомпрометированных показаниями Лукасиньского о Патриотическом Обществе. И во всяком случае, можно смело подтвердить, что из всех поименованных Лукасиньским лиц никто не подвергался преследованиям.

Тем временем, в половине октября, был приведен в исполнение приговор над несчастным Суминьским. На площади установили под сильным конвоем всех заключенных, привели бледного, обросшего Лукасиньского и поставили у стены внутри карре. Затем на его глазах, закованный в ручные и ножные кандалы, Суминьский получил 400 палочных ударов. По окончании экзекуции окровавленного преступника заперли в подземелье, а Лукасиньского оставили

в ордонанцгаузе, где допрос продолжался после Гюбнера присланным для этой цели из Варшавы Колзаковым. Прежде всего на вопрос, кто подал ему первую мысль об организации Патриотического Общества, преследовавшего очевидно политические цели, Лукасиньский (17 октября 1825 г.) дал исчерпывающие показания. Начав с прежнего категорического утверждения, что главным побудителем создания Патриотического Общества явился Ружнецкий, он сообщил все скрывавшиеся до сих пор подробности открытия Общества, рассказал о событиях в Познани, прибытии Уминьского, собрании на Белянах, организации и росте Общества. В тот же день он собственноручно изложил свое показание письменно, дополнив многими подробностями глубокого психологического и личного свойства, отчасти обращаясь прямо к Константину.—«Позже выяснится,—писал он,—что я и Махницкий, скрывая много, были тем не менее самыми правдивыми в сравнении с другими. Причиной этого является то, что каждый из них хотел лишь оправдать себя, не думая об остальных. Я же думал о всех, не щадя себя. Я презираю всякую ложь; я применял ее только там, где я считал обязательным пользоваться ею для спасения многих людей от беды, в которую я сам попал. Я ненавижу также лесть и никогда не пресмыкался в передних богатых людей. Поэтому у меня нет никаких оснований утаивать что-либо и прикрывать себя или других».

В самом деле, даже это письменное показание, предназначенное ad hominem и считавшееся со специфическими особенностями характера Константина, обнаруживало, наряду с искренностью, большую сдержанность, весьма зрелую обдуманность, тонкое понимание некоторых сторон в организации союза. На следующий день, он во втором показании дал между прочим объяснения о союзе «истинных поляков» и участии в нем Прондзиньского, а также о некоторых важнейших вопросах, касающихся Патриотического Общества, в ответ на заданные ему вопросы. Кроме того продиктовал наизусть Гюбнеру устав Общества, несколько сократив его и с пропусками. Этим закончился допрос в Замостье.

Получив показания Лукасиньского, Константин немедленно, в половине ноября, возвратился в Варшаву. Но он не воспользовался ими для репрессивных мер, не тронул никого из упоминаемых в них лиц, хотя многие из них занимали выдающиеся должности и спокойно продолжали исполнять свои обязанности, первоначально не подозревая даже, что они известны грозному начальнику как основатели или члены Патриотического Общества.

Тем временем (29 ноября т. г.) Константин приказал для облегчения дальнейшего допроса препроводить Лукасиньского и

Добжицкого из Замостья в Гуру в строжайшей тайне, по одиночке, так, чтобы один не знал о судьбе другого.

Ночью 30 ноября Лукасиньский, все еще в кандалах, с завязанными глазами, тщательно закутанный в казацкую бурку, был вывезен поручиком гвардии Радухиным из Замостья и доставлен в Гуру. На следующий день ночью точно так же был вывезен казацким подпрапорщиком и Добжицкий. В Гуре их поместили в казармах пешей гвардейской артиллерии, находившихся во флигеле бернардинского монастыря, под надзор русского полковника Корфа — человека, как свидетельствует Лукасиньский в своих шлиссельбургских записках—«чрезвычайно благородного и почтенного», старавшегося по мере своих сил облегчить участь несчастных узников своим гуманным отношением к ним. Через две недели, в половине декабря, сюда прибыли Новосильцов и Курута для продолжения допроса, к которому с особенным коварством готовился первый. Лукасиньский в своем собственноручном письменном показании дал краткие, точные и сдержанные, никого не компрометирующие, ответы на приготовленные Новосильцовым щекотливые вопросы, касающиеся сцены первого собрания в Белянах, устава Косиньеров, влияния союза на варшавскую прессу, сношений с Князевичем и какой-то другой «известной особой», подразумевая под ней Адама Чарторыского и т. д. Одним словом, Лукасиньский вел себя точно так же, как и при двукратном допросе еще в начале января 1826 г.

Этим допросом Константин решил закончить все дело, считая даже политически нежелательным бесконечное расширение следственно-репрессивных дел.

В этот момент пришла весть о внезапной смерти Александра I, и вскоре вспыхнуло восстание декабристов. Когда из показаний Пестеля обнаружилась связь декабристов с польскими тайными обществами, в конце января 1826 г. был арестован камер-юнкер Яблоновский, допрошенный сначала в Киеве, доставленный в Петербург и выслушанный Николаем лично. Николай обратился тотчас после этого к Константину, требуя производства строгого следствия в Варшаве. Но Константин воспротивился этому и лишь в половине января сообщил Николаю о попытке Лукасиньского в Замостье, утверждая, что показания русских заговорщиков являются ложным вымыслом, брошенным ими на Царство Польское и на польскую армию в целях своего оправдания.

Дело Патриотического Общества он считал законченным и упорно отказывался начинать новое следствие. Но Николай все-таки настоял на своем и заставил нарядить новую следственную комиссию из пяти поляков и пяти русских под председательством

Станислава Замойского. В самый день открытия заседаний этой комиссии (20 февраля 1826 г.) были произведены первые аресты, и затем они происходили ежедневно. Все эти аресты не имели никакого отношения к показаниям Лукасиньского в Замостье, со времени которых прошло четыре месяца (от 17 ноября 1825 г. до 20 февраля 1826 г.), и в течение этого времени буквально никто не был арестован. Лукасиньский не имел ничего общего с этими арестами, ему даже не были известны причины их, так как он совершенно не знал ничего о позднейших делах Патриотического Общества после того, как он был заключен в крепость. Его ни разу не допрашивала также следственная комиссия. И лишь единственный раз, в первой половине июня по личному приказу Константина, Лукасиньского препроводили ночью с такими же предосторожностями, как из Замостья в Гуру, из Гуры в Варшаву. И здесь в строгой тайне поместили в Литейный двор и под самым строгим надзором приставленного к нему русского капитана Бажина и ветеранов волынского гвардейского полка. Одновременно привезли туда же и Добжицкого, а в сентябре они были отправлены обратно в Гуру. Летом 1827 г. он был снова привезен вместе с Добжицким из Гуры в Варшаву и снова помещен в Литейный двор. Совершенно изолированный, не видя никого, кроме наблюдающей за ним стражи, он только один раз, в конце июля, во время пожара большой пятиэтажной суконной фабрики Френкеля, помещавшейся на Литейном дворе, в самую опасную минуту, когда пламя уже охватывало флигель, в котором помещалась его камера, встретился с Добжицким. Их привели обоих в квартиру Бажина, и они могли в течение нескольких часов, хотя и в присутствии русского солдата, свободно поговорить по-польски. Наконец, еще несколько месяцев спустя, в ноябре 1827 г., он в последний раз был вызван вновь учрежденной, вместо следственной комиссии, сенаторской варшавской делегацией. Здесь Лукасиньский в последний раз видел и слышал поляков. После того ноябрьского дня он свыше сорока лет был отрезан от мира и своей родины.

В 1828 г. закрылся сеймовый суд, во время которого имя Лукасиньского вспоминалось не раз. В 1829 г. Николай был провозглашен царем польским, а в 1830 г. открылся четвертый и последний сейм. Лукасиньский все еще оставался в заключении, но уже как единственный из осужденных военным судом. Добжицкий, по истечении четырехлетнего срока его наказания, был освобожден в октябре 1828 г. Лукасиньский продолжал влачить существование в абсолютной тайне, в волынских казармах Варшавы, в маленькой, полутемной конуре, во втором этаже, где

окно было умышленно заколочено с боков и сверху, так что свет проникал лишь через небольшое отверстие. Он сидел по целым дням на прикрепленном к полу табурете, закованный в те же кандалы, которые были надеты во время экзекуции на Повонзковском поле. На сейме 1830 года благородный Густав Малаховский, бывший член Патриотического Общества, а теперь один из самых уважаемых в палате депутатов, имел смелость, в конце июня, накануне закрытия сейма, подать петицию царю о помиловании Лукасиньского. «Трудно высказать, с какою благодарностью палата депутатов и народ, представителем которого она является, убедились бы, что все раны зажили, все скорби улеглись, все жалобы забыты». Николай I остался глухим на этот красноречивый призыв. Быть может все-таки, под влиянием этой петиции, в 1830 г. с Лукасиньского были сняты оковы.

Но наступила ночь 29 ноября 1830 г., и в Варшаве вспыхнула революция.

Лукасиньского вероятно разбудили приближавшиеся из города, все ближе и все сильнее—крики, выстрелы и набат. Он верно вскочил в темноте и, подавляя биение собственного сердца и звон цепей, прислушивался с затаенным дыханием к глухому шуму надвигавшейся бури. И какое тупое, смертельное отчаяние должно было охватить его, когда на следующий день, 30 ноября, в 10 часов утра волынцы в боевом строю, очевидно отступая перед революцией, выступили из казарм и, поместив Лукасиньского силою в средину своих рядов, увели с собой за город. Отсюда, при отступлении русских войск с Константином из Царства Польского, его забрали с собой и окольными путями шли на Пулавы и Влодаву. В последний раз Лукасиньского видели во Влодаве. В жалкой сермяге, с бородой по пояс, его вели пешком на веревке под конным конвоем с обнаженными саблями. Его вели таким способом до Белостока, откуда он был передан по приказу Константина, через генерала Герстенцвейга—главнокомандующему Дибичу с поручением отправить в крепость Динабург или Бобруйск.

Генерал Розен, которому Лукасиньский был передан Дибичем, избрал Бобруйск, как ближайшую крепость, и поместил его там, донеся об этом Николаю. Но Николай положил собственноручную резолюцию: «немедленно тайно перевезти Лукасиньского из Бобруйска в Шлиссельбург» и потребовал от Константина более подробных сведений об этом выдающемся преступнике. Ночью 5 января 1831 г. Лукасиньского повезли из Бобруйска на санях по замерзшей Ладоге и заточили в подвале «Секретной башни» в Шлиссельбурге.

В освобожденной Варшаве слишком поздно вспомнили о несчастном узнике, лишь несколько дней спустя, при распространившейся вести об открытой в волынских казармах тюремной камере, вспомнили о Лукасиньском. Поиски были предприняты адвокатом Кшивошевским, защитником Патриотического Общества перед военным и сеймовым судом. Муниципальный совет допросил арестованного Любовидзкого и Макрота, штаб-лекаря волынского полка Эрнвиха и генерала Ессакова, но ничего не мог узнать от них по этому вопросу. Ессаков поместил даже в варшавских газетах заявление, в котором он возмущенно выражал протест против слуха, что в его полку кто-то находился в заключении. Но через две недели, в конце декабря 1830 г., при просмотре счетов Куруты, касающихся высшей военной тайной полиции, найдены там неопровержимые доказательства пребывания Лукасиньского в волынских казармах. Но было уже поздно— Лукасиньский был тогда уже на пути к Шлиссельбургу. В конце января 1831 г. поручик Антон Лукасиньский обратился от имени родных к Народовому Жонду с просьбой напомнить русским о Валериане Лукасиньском. Народовый Жонд, передав просьбу главнокомандующему народной армией кн. Радзивиллу, просил его «начать переговоры по этому вопросу с русскими властями с целью возвратить Лукасиньского в Польшу в обмен на русских заложников». Затем этот вопрос возбуждался несколько раз, и ответ был получен от Скшинецкого лишь после битвы под Остроленкой, когда всякая надежда на спасение Лукасиньского была потеряна. За ним уже закрылись ворота Шлиссельбургской крепости.

ГЛАВА V.

В Шлиссельбурге.

Как злые коршуны над пищею кровавой,
Сидели над своей добычею цари...
(Из революц. стихотв.).

Комендант этой крепости генерал Колотинский, еще за неделю до прибытия Лукасиньского в Шлиссельбург, получил секретный приказ от начальника главного штаба графа Чернышева, изданный тотчас по получении донесения Розена и Дибича об этом необыкновенном польском узнике. Приказ гласил: согласно высочай-

шей воле «преступника из Царства Польского Лукасиньского принять и содержать в Шлиссельбургской крепости, как государственного преступника, самым тайным образом, так, чтобы, кроме коменданта крепости, никто не знал даже его имени и откуда он прислан».

Вследствие этого, по прибытии Лукасиньского в Шлиссельбург в январе 1831 г., приняты чрезвычайные меры предосторожности и применены самые строгие, даже здесь не практиковавшиеся по отношению к другим узникам—меры. Его поместили в подвале так-называемого «Секретного Замка». Так называлась старинная массивная башня, еще шведских времен, расположенная среди шлиссельбургской крепости и в настоящее время называвшаяся «Светличной башней». Следуя строгому царскому приказу, его совершенно отрезали от мира и людей. Стороживщим его солдатам было строжайше воспрещено вступать с ним в беседу, молча подавали ему пищу и в случае крайней необходимости войти в его камеру—впускали одновременно несколько человек.

Одновременно с ним сидел в Шлиссельбурге до 1834 г. еще один узник—католик, декабрист Иосиф Поджио, которого, по его просьбе, несколько раз навестил настоятель католической церкви св. Екатерины в Петербурге—ксендз Шимановский, не допущенный, однако, к Лукасиньскому.

Так жил или, вернее, только не умирал в течение длинного ряда лет Лукасиньский. В продолжение четверти века от начала его заключения нет никаких следов его существования. Тайна охранялась так строго, что присутствие этого загадочного узника в Шлиссельбурге стало с течением времени загадочным даже для тех лиц, которые по своей профессии, казалось, должны были скорее всего знать об этом.

Так, в мае 1850 года начальник Третьего Отделения от имени шефа жандармов обратился к военному министру с вопросом, в чем именно состоит преступление этого старого поляка, содержащегося в шлиссельбургской крепости, и на каком основании его содержат там. Военный министр — Александр Чернышев— старый генерал, женатый на польке и заклятый враг поляков, в своем обширном ответе шефу жандармов Алексею Орлову, мог объяснить лишь то, что Лукасиньский заключен в крепость на основании личного повеления Николая I. Первое сведение очевидца о Лукасиньском было получено от М. А. Бакунина. Бакунин за участие в дрезденском восстании в 1849 году был арестован в Ольмюце и, выданный затем Австрией Николаю, содержался в Шлиссельбургской крепости от 1854 до 1857 г.г. В первый год

своего заключения он увидел Лукасиньского, когда тот в виде исключения, вследствие болезни, был выпущен из своей камеры на прогулку.

«Однажды во время прогулки, — рассказывал позже вырвавшийся на свободу Бакунин,—меня поразила никогда не встречавшаяся мне фигура старца с длинной бородой, сгорбленного, но с военной выправкой. К нему был приставлен отдельный дежурный офицер, не позволявший приближаться к нему. Этот старец передвигался медленной, слабой, как бы неровной походкой и не оглядываясь. Среди дежурных офицеров был один благородный, сочувствующий человек. От него я узнал, что этот узник был майором Лукасиньским. Я употреблял с того момента все усилия на то, чтобы снова увидеть его и поговорить с ним. Это облегчил мне тот же достойный офицер. Спустя несколько недель, во время дежурства этого офицера, Лукасиньского снова вывели под его охраной. Согласно заблаговременному условию, я, незаметно для остальных заключенных, подошел к нему близко и сказал вполголоса:—«Лукасиньский!»

Он вздрогнул всем телом и обратил ко мне полуслепые глаза.— «Кто?» спросил он.—«Узник этого года!» — «Который теперь год?» — Я ответил.— «Кто в Польше?» — «Николай!» — «Константин?» — «Умер!» — «Что в Польше?» — «Скоро будет хорошо!» — Вдруг он отвернулся, остановился, я видел, как он тяжело дышал, и тотчас двинулся вперед своим обычным, слабым, мерным шагом. Когда снова наступило время дежурства этого офицера, первый мой вопрос был о Лукасиньском. Офицер сказал, что Лукасиньский находился несколько дней в волнении, бредил. Это приписывали действию воздуха. Затем он снова вернулся в свое полусонное состояние. Я спросил офицера, не может ли он поговорить когда-нибудь с ним, помочь ему в чем-нибудь? Офицер ответил, что в его камеру можно входить лишь втроем и потому никак невозможно этого сделать. Больше я Лукасиньского не видел».

Тем временем умер Николай I, воцарился Александр II. Казалось, тяжелое прошлое сглаживалось и приближались новые, лучшие времена. Широкая амнистия в сентябре 1856 г. даровала свободу самым тяжелым преступникам прошлого царствования, декабристам, осужденным за военное сопротивление и за одну мысль о цареубийстве, которые возвратились из сибирских рудников на родину. А в подвале «Секретного замка» попрежнему, без перемены, без срока, агонизировал Лукасиньский. Первоначальный семилетний срок заключения, согласно судебному приговору и конфирмации Александра I от 1824 г., давно истек, в ноябре 1831 г. Даже произвольно удвоенный в 1825 г. при-

казом Константина четырнадцатилетний срок также закончился в ноябре 1838 г. Но не было даже речи о смягчении его страшной участи. В июне 1858 г. проживавшая в Варшаве любимая сестра Лукасиньского, Текля Лэмпицкая, обратилась к Александру II с петицией и просила об облегчении участи ее несчастного брата. Из прошения ясно обнаружилось, что старушка не имела никакого понятия о его судьбе: она покорно просила, если он жив, то, приняв во внимание давно истекший срок заключения, возвратить его родине и семье.

В случае же его смерти сообщить ей об этом. После этого напоминания на короткое время занялись делом Лукасиньского, и возник даже в том же 1858 г. следующий проект: «Лукасиньского, если комендант крепости Шлиссельбург признает возможным, освободить, принимая во внимание его теперешний образ мыслей, и сослать в одну из наиболее отдаленных губерний, приняв надлежащие меры для устранения вреда, который он мог бы причинить, и после предварительного соглашения с военным министром».

Но этот план был в конце концов забыт. Лукасиньский остался в прежнем положении, Лэмпицкая не получила никакого ответа, и на ее прошении имеется собственноручная резолюция начальника III отделения Потапова: «оставить без ответа».

Лишь спустя еще несколько лет Лукасиньский дождался некоторого облегчения своей участи. В 1861 году новый комендант Шлиссельбурга генерал-майор Лепарский—более гуманный, чем его предшественники, тронутый видом беспримерных страданий Лукасиньского, предпринял, по собственной инициативе, «без всякой просьбы с моей стороны»—как выразился Лукасиньский в письме к Лепарскому—усиленное ходатайство о даровании ему хотя бы частичной свободы. Это ходатайство, возобновляемое в течение полугода, было первоначально безрезультатным. Но в конце концов, как видно благодаря вмешательству кн. Александра Суворова—военного губернатора Петербурга, ходатайство было хоть отчасти удовлетворено, и III отделение подало мотивированный рапорт о Лукасиньском.

Перечислив в нем все его необыкновенные преступления, указывалось, со слов Лепарского, на то, что в течение 31 года своего заключения в Шлиссельбурге Лукасиньский вел себя хорошо, переносит свое наказание безропотно, с христианским смирением и считал бы большою милостью для себя освобождение из «Секретного замка». Принимая во внимание, что этот семидесятилетний старец «очень слаб, плохо слышит и поражен каменною болезнью», генерал Лепарский заявлял, что считал бы необходимым освободить его от заключения и поместить в одну из камер нижнего

этажа, ассигновав на его содержание прежние 30 копеек в день. На эти деньги он мог бы получать обычную арестантскую пищу. Для надзора же за ним можно назначать поочередно рядового караульной команды, с которым ему разрешалось бы совершать прогулку внутри крепости.

Однако, в заключение Третье Отделение, очевидно с целью противодействовать вышеуказанному предложению Лепарского, прибавило от себя, что «в 1858 году, при пересмотре этого дела, предполагалось, если будет признано нужным, «освободить» Лукасиньского и выслать его со всеми возможными предосторожностями. Приведение в исполнение рапорта III отделения, т.-е. ссылка в Сибирь, была бы просто гибельной для Лукасиньского и была бы равносильна смертному приговору для такого изможденного старца. Но царь положил на рапорте собственноручную резолюцию карандашом: «поступить согласно решению генерала Лепарского». Царская резолюция была передана Лепарскому, и через несколько дней—9 марта 1862 г.— Лукасиньскому была объявлена «высочайшая милость» и он был освобожден из «Секретного замка». «Он протянул руки к небу» — как докладывал растроганный Лепарский—«и горячие слезы текли на грудь старика».

Таким образом в тюремной жизни Лукасиньского произошла перемена. Хотя он оставался попрежнему арестантом и продолжал содержаться под строгим надзором в Шлиссельбурге и назывался теперь «бывшим арестантом» или «секретным узником», но условия его жизни значительно изменились к лучшему. Он пользовался теперь большею свободой, получил светлую и сравнительно удобную камеру, немного одежды и самые необходимые вещи, на которые было ассигновано 100 рублей—на стол, письменные принадлежности, книги, а иногда и газеты. В июне 1862 г. к нему был допущен, по его просьбе, поддержанной Лепарским, католический священник, из рук которого он принял причастие. Теперь он имел возможность бывать в доме Лепарского, где он пользовался уважением и заботами. В особенности молодая дочь Лепарского Ольга окружала его сердечною заботливостью и заслужила его глубокую благодарность. Его посещали также многие сочувствовавшие ему русские из Петербурга, иногда и высокопоставленные, вроде Александра Суворова, приезжали взглянуть на него, как на чудо. И в этом сострадательном любопытстве чужих людей таилось что-то унизительное. Таким путем до него доходили теперь вести из внешнего мира и главным образом из Польши. Он узнал постепенно все, что произошло в течение этого долгого сорокалетнего срока, узнал все, что происходило в Польше в эту пору исторического перелома в 1862—1863 г.г.

В 1863 г., уже полупомешанный, Лукасиньский стал вести что-то вроде дневника, одновременно представлявшего собой собрание отрывочных воспоминаний, отчасти политического содержания. Он закончил эти воспоминания «Новым (ст. стиля) 1864 годом» и позже в различное время прибавил еще некоторые заметки и отдельные мысли. И видно, что его дрожащая старческая рука с трудом держала перо и с неменьшим трудом он, очевидно, подыскивал польские слова, пересыпая свои заметки руссицизмами. Он касался главным образом, в общих чертах, времен Герцогства Варшавского и Конгресса, упоминая о своих трудах и наблюдениях. От Александра он переходит к Николаю, которого знал лишь по слухам, на которого так надеялись и который обманул эти надежды. «Поляки ожидали от него не эффектного зрелища коронации, не молитвы и жареных быков, а чего-то иного, более важного, т.-е. облегчения своих страданий и улучшения своего положения в будущем».—Он разбирал также причины ноябрьского восстания и его неудачи. «Поляки, слабые и жившие в разладе, не найдя человека, заслужившего общее уважение, как Костюшко и Понятовский, должны были неизбежно покориться. Он останавливается также в своих записках на Александре II, на первых его реформах и особенно на освобождении крестьян, «давшем России миллионы граждан». Затем он говорит с глубокою скорбью об отношении Александра к Польше, о жестоких способах подавления восстания и лишь частично дошедших до Лукасиньского репрессиях Берга и Муравьева, о выступлениях Каткова, с которыми он имел возможность ознакомиться из русских газет. Характерно, что Лукасиньский в своих записках упрекает русских ученых в отсутствии гуманности и рассудительности, в восстановлении одной народности против другой путем религиозного фанатизма. «В нашем просвещенном веке ученые представляют собой в Европе нравственную и умственную аристократию, более уважаемую, чем аристократия по рождению. Они являются там истинными жрецами, хранителями священного огня на алтаре науки и искусства. Европейские ученые несли людям мир и согласие. Русские же ученые проповедуют ненависть и месть, благодаря их стараниям поляки пользуются ненавистью. «Что же произойдет в конце концов», с отчаянием восклицает Лукасиньский. И вспоминает по этому случаю, что Наполеон, умирая в изгнании, среди других правил, оставил три самых важных: 1) общественное мнение сильно, и его следует уважать, 2) время насилий и завоеваний прошло и 3) силой ничего нельзя создать (la force ne crée rien). Справедливость этих правил подтверждается его собственною гибелью». Он много раз возвращается в своих записках к последнему правилу, под-

черкивая бесенье насилия. Все свои мысли о Польше и ее исторических отношениях к России он соединил в пять пунктов, составляющих его «завещание». В этих пяти пунктах сосредоточены выводы, вытекающие из настоящих воспоминаний и долгих размышлений. Я не принадлежу больше этому миру. «Свободный от страха и надежд и даже от предрассудков, предубеждений и страстей, мало соприкасаясь с настоящим,— я живу исключительно в прошлом. Прошедшее это мой пост, на котором я подготовляю себя к далекому путешествию в неизведанные края будущего. В таком настроении я надеюсь вскоре предстать перед престолом Всемогущего и понесу с собой эти пять пунктов, в виде жалобы на несправедливость и тиранию. Я буду просить не наказания, не мести и даже не строгой справедливости, а лишь отеческого наставления для виновных, облегчения для страдающих и, наконец, мира, согласия и благословения для обоих народов. Мой голос слабее голоса вопиющего в пустыне, его не услышит ни одно живое существо... Поляк по рождению и воспитанию, я ненавидел Россию и ее жителей. Это был результат впечатлений, которые произвели на меня кровавые картины 1794 г. Годы, а с ними и опыт и глубже продуманная вера смягчила мои склонности и чувства. Продолжая любить больше всего мою родину, я не мог ненавидеть ни одного народа. И хотя я родился и воспитывался в католической религии, я представляю собою христианина по духу и истине, уважаю каждую религию и ее обряды, ценю только нравственность и хорошие дела. Мой последний вздох будет посвящен моей родине, и последняя молитва будет за ее благополучие и за счастье тех, кто поддерживал ее и служил ей, кто остался ей верен в несчастии и делил с ней ее страдания».

В самом конце тетради, содержащей эти записки, после некоторых дополнительных примечаний, написанных в течение того же 1864 г., также собственноручно написана Лукасиньским, в первой половине следующего 1865 г., отдельная глава, озаглавленная «Молитва». «Это ежедневная молитва, которую я читаю обыкновенно, во время прогулки», писал он в письме Лепарскому в ноябре 1865 г. Вероятно, он читал ее до тех пор, пока был в сознании в дни своей медленной смерти. Она начинается и оканчивается одной и той же фразой: «Есть что-то там в вышине, что расстраивает все планы смертных» (Il y a quelque chose en haut, qui dérange les desseins des mortels). Вся молитва полна забот и бесконечной любви к родине, а затем и ко всему человечеству. Это одновременно мольба и жалоба и как бы расчет с Богом умирающего в страшном одиночестве, в стенах Шлиссельбургской крепости

восьмидесятилетнего старика. В июне 1865 г. Лукасиньского поразил удар. В течение нескольких месяцев, до сентября, он, по его собственным словам, «изображал собой не более как движущийся автомат, думающий лишь о том, чтобы скорее отправиться ad patres. В октябре того же года он поправился настолько, что написал собственноручное письмо Лепарскому, покинувшему к тому времени пост коменданта Шлиссельбургской крепости. Это было длинное, единственное сохранившееся, письмо Лукасиньского, написанное на половину по-польски и по-французски. В этом письме, на ряду с проблесками тонкой мысли, обнаруживались явные следы прогрессирующей душевной болезни. «Я представляю собой или великого безумца или великого мудреца. Я подобен молодому возлюбленному, намеревающемуся написать коротенькую записку к своей возлюбленной и не знающему, где и как остановиться, и пишущему длинное послание. В Варшаве обо мне много говорят, сожалея, что я переношу здесь различные страдания. Но там, в Варшаве, есть множество людей гораздо более несчастных, чем я, и их страдания болезненно отзываются в моей душе... Из всех членов Вашей семьи, генерал, чаще всего вспоминаю Ольгу. Я заметил, что перед отъездом она была грустна—желаю ей веселости и душевного покоя... Это бессвязное письмо является верным отражением моей головы и царящего в ней хаоса. Серьезное и смешное, веселое и грустное—все в ней перепутано без всякого порядка... Где я? Кто я? Одинокий и чужой, как сказочный вечный жид, без кровли и без отчизны. Что для меня Петербург, Париж, Лондон и весь мир, раз я не могу найти мою родину и могилу».

Весной 1866 г., по свидетельству студента-медика Степуша, видевшего случайно Лукасиньского в Шлиссельбурге, он был еще на ногах, «говорил языком польско-русско-французским и не терял надежды выйти на свободу». Все стремления его родных получить разрешение на свидание с ним остались без результата. С 1867 г. нет никаких сведений о Лукасиньском. Повидимому, его ум совершенно померк. 27 февраля 1868 г. новый комендант Шлиссельбургской крепости, генерал-майор Гринбладт, представил Александру II следующий рапорт: «Всеподданнейше доношу В. И. В., что содержавшийся в вверенной мне крепости секретный арестант Лукасиньский сегодня волею божьею скончался».

Так окончились мучительные, небывалые, почти полувековые, страдания этой жертвы слепого насилия и дикого произвола.

БИБЛИОТЕКА
СТОЛОВОЙ

ОГЛАВЛЕНИЕ.

Стр.

Вступление 3

Глава первая.—Детство и молодые годы 5

» вторая.—Лукасиньский и польское масонство 16

» третья.—Патриотическое общество 37

» четвертая.—Суд и первые годы заточения 48

» пятая.—В Шлиссельбурге 63

UNIVERSITY OF N.C. AT CHAPEL HILL
000270764&8